

ВОССТАНОВЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

ДЕНИС ПОЖИДАЕВ



Денис Пожидаев

Восстановлению не подлежит

«Автор»

2026

Пожидаев Д.

Восстановлению не подлежит / Д. Пожидаев — «Автор», 2026

В мире Аси научились возвращать умерших. Её родители называют это спасением. Ася тоже ждала возвращения. А потом у неё появились друзья, любимая работа и человек, с которым хочется встретить следующее лето. Только после возвращения она ничего из этого не вспомнит. Мама говорит: «Ты наша дочь, которой вернут память». Но чем ближе назначенный день, тем труднее Асе понять: если ей собираются вернуть её саму, почему она так боится исчезнуть?

© Пожидаев Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Ближайшее лето	6
Глава 1. Неправильный звук	6
Глава 2. Наш зал	12
Глава 3. Память дома	16
Глава 4. Разрешение	20
Глава 5. Списанное	24
Глава 6. Двум обещали	28
Глава 7. Чужая смена	32
Глава 8. Закрыто	36
Глава 9. Тихая работа	40
Глава 10. Пробный вечер	44
Часть вторая. Дальше одного лета	48
Глава 11. После школы	48
Глава 12. Расходы	52
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Денис Пожидаев

Восстановлению не подлежит

Денис Пожидаев

Восстановлению не подлежит

16+

Все персонажи, организации, технологии, законы и события романа вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми, учреждениями и правовыми нормами случайны.

Часть первая. Ближайшее лето

Глава 1. Неправильный звук

Сентябрь. До возвращения памяти: 726 дней

В Службе восстановления пахло яблоками.

Не настоящими, а теми, что продаются в картриджах для вентиляции, чтобы люди в очереди не нервничали. Я знала это точно: позапрошлой зимой папа чинил здесь кондиционер и принёс домой пустую коробочку с надписью «Зелёный сад. Успокаивающий». Мы месяц подкладывали её к соседской двери, и их кот от этого запаха садился и смотрел в стену. Значит, на кого-то действовало.

На меня — нет. Я сидела на белом диване, на котором невозможно сидеть красиво, потому что он мягкий только с виду, и считала ласточек. Они летели по стене от двери к окну, сорок одна штука. Над последней золотыми буквами было написано: «Никто не уходит нас всем».

— Не крути, — сказала мама.

Я крутила ремешок сумки. Мама сидела прямо, с папкой документов на коленях, и улыбалась так, как улыбаются, когда боятся заплакать при посторонних. На ней была синяя куртка водоканала: её отпустили всего на два часа, на Заводской прорвало трубу, и после меня она возвращалась в аварийную бригаду. От куртки пахло мокрым асфальтом. Это было лучше яблок.

Кроме нас в зале ожидания сидели мальчик с бабушкой и девочка с обоими родителями, все трое в праздничном. Девочка держала букет, как на линейке. Мальчик держал телефон, бабушка держала мальчика за локоть. Похоже на очередь к стоматологу, подумала я, только у стоматолога не дарят значков.

— Левина Анастасия Павловна, — сказал динамик над дверью. Динамик хрипел на «с». Контакт отходит, машинально отметила я.

Мама встала первой.

* * *

Консультант оказалась молодой, с короткой стрижкой и ласточкой на шнурке бейджа. Её звали Алина. Она назвала меня «Ася», не заглядывая в бумаги, — значит, прочитала заранее и запомнила. Я это оценила.

— Знаешь, зачем пришла?

— На Подтверждение.

— А что подтверждаешь?

— Что я понимаю.

Алина улыбнулась, как будто я ответила на пятёрку, но планшет ко мне всё равно развернула. Так положено: текст читают вслух, целиком, своим голосом, потом отвечают на вопросы. Мама села позади, на стул у окна, и я слышала, как она перестала дышать.

Я читала. На первой строчке голос поехал вверх, как у первоклашки на конкурсе чтецов, и я его опустила.

«Я, Левина Анастасия Павловна, гражданка, находящаяся в восстановительном развитии, исходная дата рождения двенадцатое мая две тысячи девяносто седьмого года, подтверждаю, что мне разъяснены цели и порядок программы. Я понимаю, что по завершении восстановительного развития, ориентировочно по достижении восемнадцати лет, моя личность будет возвращена в полном объёме. Я понимаю, что воспоминания восстановительного периода при этом не сохраняются. Я понимаю, что программа осуществляется в моих интересах...»

Дальше шло про права, про школу, про горячую линию. По документам мне было тридцать четыре, и мне это всегда нравилось. В песочнице я этим хвасталась. Один мальчик разревелся: ему было пять, а мне — двадцать три.

— Хорошо, — сказала Алина. — Теперь своими словами. Что будет, когда тебе исполнится восемнадцать?

— Мне вернут память.

— А то, что ты помнишь сейчас?

У ласточки на её шнурке был отбит кончик крыла, и под эмалью блестел металл.

— Оно не сохранится, — сказала я. — Как сон. Ну, не совсем как сон. Как если бы ты долго жила в гостях, а потом вернулась домой и не помнишь, какие там были обои.

Мама за спиной коротко засмеялась — или всхлипнула. Это была её фраза, я слышала её лет с пяти. Алина посмотрела на маму, потом на меня.

— Тебе не страшно?

Тоже обязательный вопрос. Правильный ответ здесь — «немного». Если сказать «нет», это записывают в карту отдельной строкой и приглашают к психологу поговорить о «вытеснении». Марк Громов в марте сказал «нет» — и полгода раз в месяц рассказывал тётеньке в кофте, как ему спится.

— Немного, — сказала я. — Как перед контрольной, к которой готовилась.

— Это нормально. — Алина что-то отметила. — Ты понимаешь, что после возвращения не вспомнишь и этот разговор?

— Понимаю. Вы тоже не вспомните. У вас таких, как я, человек сорок в неделю.

— Пятьдесят шесть. — Она впервые улыбнулась не по инструкции. — Но тебя, пожалуй, запомню. Обычно на этом месте плачут.

Я приложила палец к экрану. Экран мигнул зелёным: «Подтверждено. 12.09». И всё. В кино после подписи всегда что-нибудь происходит — гром, музыка меняет тональность, кто-нибудь роняет стакан. Здесь только загудел принтер в углу и выплюнул лист для семейного архива.

Алина достала из ящика маленькую коробочку.

— Это тебе. От Службы.

На синем бархате лежала эмалевая ласточка, как у неё, только с целыми крыльями.

— Ласточки возвращаются, — сказала Алина. Было видно, что она говорит это пятьдесят шесть раз в неделю и всё ещё не устала.

Мама подошла сзади, положила мне руки на плечи и поцеловала в макушку. Руки у неё были холодные и пахли резиновыми перчатками.

— Асенька. Я тобой так горжусь.

Я держала коробочку и думала, что надо бы что-нибудь почувствовать, раз все так стараются. Я и чувствовала: приятно, немножко неловко и очень хочется наружу, потому что в сумке третий раз подряд жужжал телефон.

* * *

На крыльце мама поправила мне воротник, хотя он был в порядке, и сообщила, что ужин в синей кастрюле, что Сомов придёт в понедельник, а не во вторник, и что она меня любит. Потом её позвали из машины водоканала — оранжевой, с мигалкой. Прохожие оглядывались, будто мама уезжала спасать город. Она и уезжала: на Заводской без воды стояли три дома и детский сад.

Я помахала ей и открыла сообщения.

Дина: «В 18:00 у клуба. Тамара Сергеевна откроет зал ОДИН раз и посмотрит на нас как на взрослых людей. Не опаздывай. Я серьёзно. Ветров тоже будет, не начинай».

Марк: «Приходи. Там пахнет крысами и мечтой».

Папа: «Ресторанная колонка ждёт тебя. Я её боюсь».

Без двадцати четыре. До мастерской пятнадцать минут на автобусе, от мастерской до клуба «Речник» — двадцать пешком через сквер. Если колонка окажется простой, я успевала. Колонки никогда не оказываются простыми, но в шестнадцать лет (и тридцать четыре по документам) в это ещё веришь.

Дине я написала: «Буду». Марку: «Купи крысам семечек». Папе: «Еду».

Значок я так и не нацепила. Сунула коробочку в карман и весь день чувствовала её боком, как камешек в ботинке, только приятный.

* * *

Папина мастерская — в полуподвале на Кирпичной, под вывеской «Ремонт. Левин. Не выбрасывайте». Последние два слова он дописал сам, после того как соседняя фирма повесила плакат «Сломалось? Купите новое!». С тех пор к нему шли старушки с утюгами и студенты с ламповыми усилителями, и все звали его по фамилии, как врача.

Внутри было тепло, пахло канифолью и пылью, нагретой на лампах. Вдоль стен — полки с коробками, к каждой скотчем приклеена квитанция. Папа сидел под лампой-лупой и паял что-то крошечное, не поднимая головы.

— Поздравляю. Подтвердилась?

— Подтвердилась.

— Значок дали?

— Дали.

— Покажешь. — Он кивнул в угол. — Вот.

Колонка стояла на полу, мне по пояс. Чёрная, в потёртом войлоке, с логотипом ресторана «Причал»: якорь и рюмка. Внутри два динамика и порт фазоинвертора — круглая дыра внизу, через которую колонка выдыхает низы.

— Хрипит, — сказал папа. — Хозяин говорит, на басах. Я думаю, подвес у большого динамика порвался. Тогда менять целиком, а такого у меня нет, и я ему скажу: за диагностику с вас столько-то, до свидания.

— А ты её слушал?

— Я её боюсь, — повторил папа. — Слушай ты. У тебя уши.

У папы тоже уши, просто он слушает приборами. Он верит в осциллограф, как бабушка Валя верила в барометр. Я считаю, что сначала надо послушать, а потом мерить. Мы спорим об этом лет пять, хотя хотим одного и того же.

Я подключила колонку к генератору и пустила медленный гудок снизу вверх, как сирену, только мягче. Колонка ровно дышала. Около шестидесяти герц в ней что-то зашелестело — будто в соседней комнате листают газету. Я вернула частоту назад. Тихо. Снова вверх — шелест.

— Это не подвес, — сказала я.

— С чего ты взяла?

— Подвес не шуршит. Подвес хлупает. А тут бумага.

Папа поднял голову от лупы. Я люблю, когда он так смотрит: будто я сказала не умную вещь, а неожиданную.

Я легла на пол и посветила фонариком в порт. Пусто. Пустила шестьдесят два герца и стала прикладывать ухо к стенкам — к одной, к другой, к задней. Шелест шёл снизу, от порта, но глубже. Порт был широкий, ресторанный, я засунула туда руку по локоть — и пальцы наткнулись на что-то сухое, лёгкое и шершавое, как старое осиное гнездо.

Это и было старое осиное гнездо.

Я вытаскивала его кусками: серые бумажные соты, пустые и лёгкие, как пепел. Папа смотрел так, будто я достала из колонки живую сову.

— «Причал», — сказал он наконец. — У них летняя веранда. Они её на лето выносят.

— Осы любят низкие частоты, — сказала я. — Наверное. Им там тепло.

— Осы любят пустые ящики. Не выдумывай.

— Ну, немножко.

Было четыре сорок. Можно было собирать и ехать. Но когда я тянула последний кусок гнезда, внутри хрустнуло. Пластиковая труба порта, старая и пересохшая, лопнула вдоль, и из трещины посыпалась белая пыль.

Надо было сказать: «Пап, я сломала, прости, я опаздываю, доклеишь?» Он бы доклеил. Он всегда доклеивал.

— Я сейчас, — сказала я. — Тут эпоксидка нужна. Двадцать минут.

* * *

Эпоксидка сохнет не двадцать минут. На упаковке написано «схватывается за двадцать», и это правда, но схватиться и высохнуть — разные вещи. Как пообещать и сделать. Я промазала трещину, стянула трубу хомутами и села ждать. Ждать я не умею, поэтому заодно перепаяла папе разъём, который и так работал, просто был некрасивый.

В пять двадцать Дина написала: «Ты где».

Без вопросительного знака. У Дины это плохой признак: у неё даже в учебниках вопросы с точкой.

«Еду через 20 мин», — ответила я.

В пять пятьдесят хомуты пришлось снять, их нельзя оставлять внутри, а без хомутов клей мог разойтись. Я держала трубу руками и считала про себя до трёхсот. Папа давно доделал своё и сидел рядом с крышкой от термоса. Он умеет молчать так, что рядом с ним становится спокойно.

— Ты же опаздываешь, — сказал он на двухстах десяти.

— Я тебе обещала закончить.

— Ты мне обещала посмотреть. Ты посмотрела.

— Я её сломала.

— Ты её починила, потом сломала, потом опять починила. — Он подул в чай. — В нашем деле это называется «рабочий день».

На трёхстах я отпустила трубу. Держится. Завинтила заднюю стенку, подключила и пустила шестьдесят два герца. Колонка загудела ровно и густо, без всякого шелеста, и у меня внутри стало тепло, как от горячего чая. Ради этого я и люблю ремонт: неправильный звук вдруг становится правильным, и только ты знаешь, чего это стоило.

Было шесть ноль восемь.

* * *

Я бежала через сквер, и в кармане колотилась коробочка с ласточкой. Клуб «Речник» стоит у самой реки: старое жёлтое здание с колоннами и барельефом — матрос держит штурвал, работница держит рыбу, и оба смотрят в будущее. Будущее, судя по их лицам, было ветреное.

У крыльца никого. Дверь заперта. На ступеньках сидел один Марк и лузгал семечки в бумажный кулёк.

— Ты купил крысам семечек, — выдохнула я.

— Крысы не пришли. Как и ты.

Он подвинулся. Ступенька ещё держала солнечное тепло, а снизу уже тянуло холодом от воды.

— Всё? — спросила я.

— Всё. Тамара Сергеевна показала, Дина записала в блокнот сорок восемь пунктов, Ветров сказал, что половину ламп надо выкинуть, а вторую половину — выкинуть с особой жестокостью. Потом Тамара Сергеевна спрашивает: «А где ваш звук?» Дина: «Едет». В шесть десять Тамара Сергеевна ушла, у неё хор ветеранов. Дина ушла, потому что она Дина. Ветров ушёл, потому что ему сказали «до свидания».

— А ты?

— А я ждал тебя, чтобы сказать, что ты плохой человек.

— Я колонку чинила. Там было осиное гнездо.

— Лучшее оправдание года. — Марк протянул кулёк. — На. Ты бледная.

Марк Громов был старше меня на полгода, но иногда вёл себя так, будто лет на двадцать. Он тоже был восстанавливающимся, его прежнему Марку было двадцать, когда тот разбился на мотоцикле, и какие-то взрослые привычки, наверное, прилипли к нему из семейных разговоров. Он говорил «в этом году» вместо «сейчас» и мог сказать официантке «спасибо, милая», от чего Дина зеленела.

— Сильно злая? — спросила я.

— Дина? Как обычно, только в рифму. — Марк сплюнул шелуху в кулёк. — Тамара Сергеевна сказала: «Приходите в субботу в десять. Все четверо. И с тем, кто разбирается в звуке». Я сказал, что ты разбираешься. Не подведи, у меня репутация.

— У тебя нет репутации.

— Вот именно. Её надо зарабатывать.

Река внизу шуршала о камни. На том берегу, в Заречье, гудел трансформатор — на пятидесяти, как всякий трансформатор. Над водой низко, к дождю, летели последние в этом году ласточки.

Марк проследил, куда я смотрю, и перевёл взгляд на мой карман.

— Ты же сегодня была. На Подтверждении.

— Была.

— Покажи.

Я достала коробочку. Марк отогнул ворот куртки: на свитере изнутри у него была приколота такая же ласточка, только потёртая.

— Добро пожаловать в клуб, — торжественно сказал он. — Теперь ты официально понимаешь.

— А ты понимаешь?

— Я понимаю с марта. У меня стаж. — Он закрыл мою коробочку и вложил мне в ладонь. — Снаружи не носи, в школе задразнят черновиком.

— Меня и так дразнят.

— Тогда носи снаружи. Пусть завидуют.

* * *

Домой я пришла в девятом часу. Мамина смена ещё не кончилась. Папа написал, что задерживается: хозяин «Причала» приехал за колонкой, услышал про осиное гнездо, потребовал показать, и теперь они пьют чай и спорят, откуда берутся осы.

В квартире было тихо — той тишиной, которая на самом деле состоит из звуков. Щёлкнул и загудел холодильник. В ванной капал кран, раз в четыре секунды: мама всё собиралась вызвать сама себя «по знакомству». А из маленькой комнаты, бывшего папиного кабинета, шёл ровный, еле слышный шум установки.

Я его не замечаю, пока не прислушаюсь, как собственное дыхание. Но если прислушаться, раз в одиннадцать минут внутри щёлкает клапан, насос коротко вздыхает и опять гудит ровно. Я засыпала под этот вздох всю жизнь. Когда мне было семь, мы ездили на море, и в гостинице я не могла уснуть, пока папа не догадался поставить мне на тумбочку старые механические часы.

Я разулась, включила свет в коридоре, а в маленькой комнате включать не стала. Там и так было видно: установка светилась изнутри.

Она похожа на высокий светло-серый шкаф с закруглёнными углами, чуть выше меня. Спереди стекло, которое умеет темнеть, и сейчас оно было тёмным, как окно ночью. Под стеклом — маленький зелёный огонёк. Сбоку табличка с ласточкой и номером и наклейка, которую

я прилепила в шесть лет: ёжик с яблоком. Мама хотела её отклеить, но Сомов, наш специалист, сказал: «Оставьте, пациентке не мешает».

Огонёк горел зелёным. Я всё равно проверила, как учили: открыла боковую панель, посмотрела на экранчик. «Параметры в норме. Следующее обслуживание: 17.09». Закрыла. Написала маме: «Зелёный. Всё ок. Ужин съела». Ужин я ещё не съела, но собиралась.

Потом, как всегда, села на пол, спиной к стене, напротив тёмного стекла.

Не помню, когда это началось. Наверное, когда я была совсем маленькая и мама приводила меня сюда за руку: «Скажи спокойной ночи». Я думала, в шкафу кто-то живёт, вроде домового. А лет в пять мама села со мной на этот самый пол и объяснила по-взрослому, без сказок. Жила-была девочка, которую тоже звали Настей. С ней случилась беда, тело спасти не смогли, но спасли самое главное — вот здесь, за стеклом. И эта девочка — я. Я сейчас расту заново, как дерево после того, как его срезали, — от того же корня. А когда вырасту, ко мне вернётся всё, что было у той девочки, и мы снова будем целые.

Я тогда спросила: а мне там не скучно одной, в шкафу?

Мама засмеялась, а глаза у неё стали мокрые. Сказала, что там никто не скучает. Там просто ждут. Как семечко зимой.

Я открыла коробочку. Ласточка лежала на бархате и смотрела на меня точкой глаза. Я подумала, не прицепить ли её к установке, рядом с ёжиком, — по-честному: та, что внутри, сегодня ведь тоже что-то подтвердила. Потом решила, что это глупо, и приколола ласточку себе на свитер. Изнутри, как Марк.

Клапан щёлкнул. Насос вздохнул.

— Спокойной ночи, — сказала я.

Мне было пять, когда я узнала, что там, за стеклом, — я. С тех пор я каждый вечер желала себе спокойной ночи дважды.

Глава 2. Наш зал

Сентябрь. До возвращения памяти: 723 дня

Дина ждала у крыльца без пяти десять, с блокнотом под мышкой, и смотрела на меня как на автобус, который пришёл вовремя после трёх опозданий: вроде бы радоваться надо, но верить рано.

— Осиное гнездо, — сказала она вместо «привет».

— Марк растрепал?

— Марк растрепал всем. Он теперь говорит «осиное гнездо» вместо «уважительная причина». — Дина что-то пометила в блокноте. — Могла написать в пять, что не успеваешь. Я бы перенесла.

— Я думала, успею.

— Ты всегда думаешь, что успеешь. — Блокнот захлопнулся. — Ладно. Сегодня ты здесь. Пункт первый выполнен.

Про остальные сорок семь я спрашивать не стала. У Дины Соколовой записано всё, даже то, что записывать не обязательно. Мы дружим с пятого класса — с того дня, когда она составила список должников за экскурсию и я оказалась единственной, кто отдал. Она тогда сказала: «Ты странная», — и с тех пор мы сидим вместе.

Марк явился в десять ноль одну с тремя стаканами какао и объявил, что четвёртый выпил по дороге от волнения. Илья Ветров — в десять ноль две, без какао, в футболке с сердечками и надписью «Праздник под ключ».

Он перехватил мой взгляд.

— Это дядина. Моя в стирке.

— Я ничего не сказала.

— Ты громко посмотрела.

С Ильёй мы были знакомы плохо и неудачно. Весной на школьном концерте он делал свет, а я — звук, и он перекинул мой кабель через свой пульт, «чтоб аккуратнее». На середине хора кабель выдернулся, и третий класс пел «Вот и лето прошло» в полной тишине, как в аквариуме. Илья потом сказал, что кабели надо закреплять, я сказала, что чужие кабели надо не трогать. Правы были оба, и от этого было только хуже.

Тамара Сергеевна вышла на крыльцо в десять ноль три. Высокая, седая, с ключами на длинном шнурке, в мужском пиджаке поверх свитера. Оглядела нас, будто пересчитала по головам, и остановилась на мне.

— Звук?

— Звук.

— Хорошо. Пойдёмте.

* * *

Летний кинотеатр «Волна» прячется за клубом, на склоне к реке, с улицы его не видно. Надо пройти тёмным коридором мимо фотографий хоровых коллективов, мимо раздевалки, где пахнет хлоркой, толкнуть плечом заднюю дверь — и вдруг оказываешься под открытым небом, на самом верху огромной лестницы из скамеек.

Я встала как вкопанная. Марк врезался в меня и пролил какао мне на рукав.

Скамейки спускались к реке широким полукругом, ряд за рядом, деревянные, серые от дождей. Внизу, на бетонной сцене, стояла рама экрана, высокая и ржавая, с обрывками полотна, которые полоскались на ветру, как бельё. Сразу за экраном начиналась вода, и река была такая широкая, что экран казался повешенным прямо на неё. Справа наверху торчала будка киномеханика — кирпичный домик с двумя квадратными окошками, как в детской книжке. В окошках сидели голуби.

На стене клуба над последним рядом висела вывеска из железных букв: «ВОЛ А». «Н» когда-то упала, от неё остался светлый след на кирпиче.

— «Вол-а», — прочитал Марк. — Звучит как приказ.

— Седьмой ряд, — сказал Илья.

Посреди седьмого ряда прямо сквозь доски росла дикая яблоня. Лет пяти, не меньше. Она выдавила две доски вверх, как пальцами, и на ней висели мелкие кислые яблоки.

— Сколько он не работает? — спросила Дина.

— Семь лет, — сказала Тамара Сергеевна. — Механик ушёл на пенсию, новый не пришёл. Денег на ремонт не было, людей тоже. Два сезона показывали на одном энтузиазме, потом энтузиазм кончился. — Она посмотрела на нас. — Он всегда кончается. Поэтому говорю сразу: ключи я вам не дам из-за того, что вы молодые и у вас горят глаза. Глаза у всех горят. Дам, когда увижу план, расходы, взрослого ответственного и акт проверки проводки. Проводку проверяет электрик. Не вы. Не ваш папа. — Это было мне, и я удивилась, откуда она знает про папу. Потом сообразила: «Ремонт. Левин. Не выбрасывайте». В нашем городе папу знают все. — Электрик. С допуском.

— У нас есть план, — сказала Дина и подняла блокнот.

— У вас есть список. Это разные вещи. Сначала посмотрите. Потом поговорим.

* * *

Мы разбрелись по залу, как по чужой квартире, которую собираемся снимать.

Дина ходила по рядам и считала доски: сломанные — крестиком, подгнившие — кружочком. Через десять минут у неё было две страницы крестиков. Марк забрался в будку, распугал голубей и высунулся в окошко: «Тут проектор! Настоящий! Весит как танк и выглядит как танк!» Илья обошёл сцену, постучал костяшками по раме и пошёл вдоль столбов с проекторами, и лицо у него делалось всё мрачнее.

Я пошла к колонкам.

Их было четыре: две большие по краям сцены, на бетонных тумбах, и две поменьше на столбах посреди зала, для задних рядов. Большие прятались в жестяных коробах от дождя, но коробка проржавела, и вода годами заливала внутрь. Я открыла один. Динамик был на месте, но подвес сгнил и висел клочьями, а диффузор покрылся зелёными пятнами, как хлеб, забытый в пакете. Во втором то же самое. В третьем — пусто: кто-то давно снял динамик и унёс.

Я посидела на тумбе. Мне стало их жалко, колонки. Глупо, конечно. Но они столько лет ждали, что кто-нибудь включит фильм, а никто не включал, и в них лил дождь.

Потом я сделала то, что делаю всегда, когда не знаю, с чего начать: хлопнула в ладоши.

Звук ушёл вверх по рядам, ударился о жёлтую стену клуба и вернулся — отчётливо, с маленькой задержкой. Хлоп... хлоп. Будто кто-то сверху ответил. Я хлопнула громче. Эхо пришло снова, чуть растянутое, а под ним тонко задребезжало — наверное, железные буквы вывески.

— Ты чего? — Илья стоял внизу у сцены.

— Слушаю.

— И чего слышно?

— Стену. Клуб. Звук со сцены идёт вверх, бьётся в стену и возвращается в зал. С задержкой. Если громко пустить фильм, на задних рядах каждое слово будет по два раза. Как в бане.

Илья подумал. Это меня удивило: я ждала, что он сразу начнёт спорить.

— Тогда колонки не на сцену, — сказал он. — Ближе к людям. И тише.

— Ну да. И стену чем-нибудь закрыть. Занавесом. Щитами.

— Или вывеску снять.

— Вывеску оставь. Она дребезжит, но это ерунда, её можно закрепить.

— Она без «Н».

— Найдём «Н».

Он поднял глаза на светлый след на кирпиче и почти улынулся. Почти.

— У меня новости похуже, — сказал он. — Прожекторы все дохлые. Кабели сгнили, крысы погрызли. Столбы стоят, но левый накренился, на него не лезть. Проводка такая, что если её включить, мы осветим весь город. Один раз. — Он помолчал. — Это не на одно лето. Это на два. Если не на три.

— Вам-то что, — крикнул сверху Марк. Он вылез из будки и спускался, перешагивая через доски. — Вы тут жить будете. А мы с Асей через два года всё равно не вспомним, как корячились. Нам торопиться надо.

Он сказал это весело. Он всегда так говорил — легко, как про погоду. И я обычно тоже. Мы оба выросли с этим «через два года», как другие растут с аллергией на кошек: надо учить, но трагедию делать незачем.

Илья посмотрел на него, потом на меня.

— Тогда тем более, — сказал он. — Тем более надо, чтоб оно стояло. Чтоб вам потом было что показать.

Я не поняла, хорошо это или плохо. Марк понял быстрее.

— Ветров, ты сейчас сказал что-то доброе? Запишите кто-нибудь! Дина! Запиши!

Дина крикнула из девятого ряда, не поднимая головы:

— Ничего я не буду записывать! Тут сорок три сломанные доски!

* * *

Через час мы собрались на сцене, у ржавой рамы. Тамара Сергеевна сидела в первом ряду на единственной целой скамейке и ждала.

Говорили все разом. Дина считала, что если раскидать работу по графику, к июню можно открыть хотя бы маленькую программу — десять вечеров, без прожекторов, со светом от проектора. Илья считал, что с такой проводкой открываться нельзя вообще, это опасно, и лучше честно за два лета, чем позорно за одно. Марк считал, что главное — объявить открытие, тогда люди сами прибегут помогать: «Люди любят, когда что-то возвращается». Я сидела на краю сцены, болтала ногами и молчала, потому что соглашалась со всеми по очереди.

— Левина, — сказала Тамара Сергеевна. — А вы?

Все уставились на меня. Мне стало жарко.

— Колонки сгнили. Все. Чинить нечего, только менять динамики. Можно найти списанные, это недорого. Но главное — стена. Если просто поставить звук, будет эхо. Его можно убрать: по-другому расставить колонки и закрыть стену. Я могу посчитать. И нарисовать схему.

— Когда?

Я посмотрела на Дину. Дина смотрела на меня очень внимательно.

— К пятнице.

— Хорошо. — Тамара Сергеевна встала. — Тогда так. До первого ноября — уборка, план работ, расходы и взрослый ответственный от школы. Акт по проводке — от электрика, телефон дам. Звук, — кивок мне, — схема и список нужного к пятнице. Свет, — кивок Илье, — то же самое к следующей пятнице, у вас хуже. Ключ от зала у меня. Каждый раз, когда приходите, расписываетесь в журнале: когда пришли, когда ушли. Каждый раз. Если я хоть однажды увижу здесь кого-то без записи — ключа больше не будет. Понятно?

— Понятно, — ответили мы вразнобой.

— Это не разрешение, — сказала Тамара Сергеевна. — Это разрешение подготовиться к тому, чтобы попросить разрешения. Не путайте.

Она пошла вверх, и ключи на шнурке звякали на каждом шагу, мелко, как бубенчик. У задней двери остановилась и посмотрела на зал. Не на нас — на зал: на ржавую раму, на яблоню в седьмом ряду, на реку за экраном.

— Хорошо здесь было когда-то, — сказала она ни к кому. И ушла.

* * *

Дина вырвала из блокнота листок.

— Это что?

— Твой участок. — На листке стояло: «Звук. Отв.: Левина. Схема — пт. Список — пт. Цены — пт». И ниже, мелко: «Не опаздывать».

— Ты уже всё расписала?

— Пока ты молчала. Я же знаю, что ты возьмёшь звук. — Дина посмотрела на меня поверх блокнота. — Ась. Если в пятницу не принесёшь, я не буду ругаться. Я просто сделаю сама. Хуже, но сама. Поняла?

Я поняла. Это было страшнее ругани.

— Принесу.

— Ну и хорошо. Марк, идёшь? У тебя афиша.

— У меня нет афиши. У нас вообще ничего нет, кроме яблони.

— Вот и придумай, как написать про яблоню, чтобы люди пришли.

Они ушли наверх, препираясь. Илья задержался у накренившегося столба, поглядел на него снизу, как на должника, и тоже пошёл. На полпути обернулся.

— Левина. Если полезешь на столбы за колонками — левый не трогай. Он упадёт.

— Я и не собиралась.

— Собиралась. Я видел, как ты на него смотрела.

Правда. На левом столбе висела одна из маленьких колонок, и я как раз прикидывала, как её снять.

Он ушёл. Я осталась на сцене одна.

Было тихо, если не считать реки. Голуби вернулись в будку и урчали там, как моторчик на холостом ходу. Ветер трепал обрывки экрана. На том берегу гудел трансформатор.

Я встала посередине сцены — туда, где когда-то, наверное, стоял ведущий и объявлял фильм, — и хлопнула в ладоши.

Зал ответил мне через четверть секунды.

Я решила, что это «да».

Глава 3. Память дома

Сентябрь. До возвращения памяти: 721 день

По понедельникам ужин готовлю я. По четвергам тоже, но в четверг ещё магазин, поэтому четверговый ужин у меня из того, что было со скидкой, а понедельничный — из того, что я умею. Умею я четыре вещи. Макароны по-флотски — лучшая.

Я как раз жарила фарш, когда мама вернулась с ночной. В семь вечера, хотя смена кончилась в восемь утра: на Заводской, оказывается, прорвало не одну трубу, а две, вторую под первой, «как матрёшка». Мама стояла в прихожей в мокрых штанах, стаскивала ботинок одной рукой, а другой держалась за стену. Пахло от неё подвалом.

— Ты двадцать два часа на ногах.

— Двадцать три. — Она прошла на кухню, заглянула через моё плечо в сковородку и поцеловала меня в висок. — Пахнет хорошо. Бельё вынула?

Бельё я не вынула.

Я загрузила его в субботу утром, перед клубом, и забыла. Мама открыла машинку, и даже из кухни я услышала её «Ася!» — так говорят, когда наступают на кубик лего.

— Я перестираю! — крикнула я.

— Два дня! — Мама вышла с охапкой серого мокрого белья, от которого несло болотом. — Два дня, Ася. Там мой рабочий свитер. Мне в нём в среду на объект.

— Ну перестираю же!

— Перестираешь, а он будет вонять. Его теперь с уксусом. — Она запихала всё обратно, хлопнула дверцей так, что на полке звякнули банки, и ушла в комнату.

Я стояла над фаршем, и щёки у меня горели. Несправедливо и справедливо сразу. Я правда забыла, я всегда забываю бельё. Но она двадцать три часа не спала, а у меня позавчера было осиное гнездо и свой участок, и мне хотелось рассказать про это, а не про свитер.

Фарш начал пригорать. Я выключила газ.

* * *

Папа пришёл в полвосьмого с пакетом мандаринов и сразу понял, что дома погода. Он определяет её по прихожей: мамини ботинки стоят ровно — всё хорошо, брошены — шторм, стоят ровно, но носками к стене — затишье перед штормом. Сегодня они лежали на боку.

— Бельё, — сказала я.

— А-а, — уважительно протянул папа, как будто я назвала диагноз, и ушёл мыть руки.

Мама вышла к столу в старом спортивном костюме, с мокрыми волосами. Села, попробовала макароны.

— Пересолено.

— Немного.

— Но вкусно. — Она помолчала. — Прости. Я с ночи. Я не на тебя.

— На меня.

— На тебя, — согласилась мама. — Но не сильно.

И мы засмеялись, даже папа, хотя не понял, над чем. У нас почти все ссоры так кончаются: кто-нибудь первым говорит что-то честное, и ругаться становится не о чем. Мама в этом лучше всех. Может накричать, а через пять минут сказать «я была неправа» тем же голосом, каким говорит «передай хлеб». У меня так не выходит. Я долго дуюсь, а когда давно пора перестать, говорю что-нибудь такое, что дуться начинают на меня.

Папа рассказал про осиное гнездо. Рассказывал он лучше, чем было: гнездо у него подросло, а хозяин «Причала» оказался энтомологом-любителем и требовал вернуть гнездо в коллекцию. Мама смеялась до слёз. Потом посмотрела на меня.

— А в клубе как? Марк сказал тёте Ире, вы летний кинотеатр берёте.

В нашем городе все всё знают через кого-нибудь: Марк сказал своей маме, его мама — моей на рынке. Я рассказала сама. Про ржавую раму, про яблоню в седьмом ряду, про эхо от стены, про вывеску без «Н». Про то, что у меня свой участок и к пятнице схема.

Мама слушала, подперев щеку, и лицо у неё делалось всё мягче.

— «Волна», — сказала она. — Господи. Мы же туда ходили.

— Вы с папой?

— Мы с тобой. — Мама потянулась через стол и тронула меня за запястье. — Тебе было пять. Показывали сборник мультиков, про ёжиков что-то. Ты уснула у папы на коленях на третьем мультике и проспала до конца, а потом ревела, что ничего не видела. Мы пошли на следующий сеанс, и ты опять уснула.

«Ты» — это была не я. То есть я, но та. В мои пять «Волна» ещё работала, только меня туда не водили, а мама рассказывала про Настю. У нас дома всегда так говорили, и я не путалась: если «когда тебе было пять» и кинотеатр — значит, тогда. Если ёжик на установке — значит, сейчас. Два разных «пять лет», как два этажа в одном доме.

— А дальше? — спросила я. — Ещё расскажи.

Это была наша игра лет с моих десяти: «Что я тогда любила». Я спрашивала, мама рассказывала, папа иногда поправлял. Игру придумала я сама — когда заметила, что у мамы от этих рассказов делается такое лицо, будто ей что-то подарили.

— Ты туда потом каждое лето рвалась. Лет в двенадцать залезла в перерыве на сцену и спела. Без микрофона. Песню из рекламы йогурта. Весь зал хлопал, а я чуть со стыда не сгорела.

— Я пела? На сцене?

— Ты всегда любила выступать.

Я не люблю выступать. Я доклад перед классом не могу прочитать, чтобы колени не тряслись. На концертах сижу за пультом в углу, где меня никто не видит, и мне там хорошо. Но вслух я этого не сказала. Подумала: это тоже придёт. Вместе со всем остальным. В восемнадцать я проснусь, захочу петь со сцены про йогурт, и мне это будет нравиться, и я буду удивляться, как это раньше сидела в углу.

Почему-то было смешно и чуточку противно, как чужой волос в супе.

* * *

Сомов пришёл в восемь, как договаривались, — с чемоданчиком на колёсиках, в синей куртке Службы с ласточкой на спине. Виктор Петрович Сомов: грузный, лысоватый, краснощёкий. Бахилы он надевал на пороге, кряхтя, будто кланялся квартире. Он ходил к нам раз в месяц, сколько я себя помню. Лет в восемь он принёс мне шоколадку и сказал: «Это хозяйке», — и с тех пор звал меня только так.

— Хозяйка. Подтвердилась, говорят?

— Подтвердилась.

— Ну и молодец. Свети.

Свечу я ему с одиннадцати лет. Это необязательно, у него свой фонарь на лбу, но он говорит, что так быстрее, и я верю. Мы пошли в маленькую комнату. Мама осталась в дверях, папа — на кухне с посудой: он не любит смотреть, как обслуживают установку, хотя никогда в этом не признается.

Сомов открыл боковую панель ключом на цепочке, подключил планшет, и по экрану побежали цифры. Он читал их долго, шевеля губами, как бабушка газету.

— Пациентка в порядке, — сказал он наконец. — Давление норма, температура норма, обмен норма. Фильтр меняем. Свети сюда.

Я светила. Он вынул из нижнего отсека плоскую кассету, вставил новую, щёлкнул. Потом что-то нажал, и тёмное стекло на передней стенке начало светлеть, медленно, как утро.

Визуальный контроль, раз в месяц. Я видела это сто раз и всё равно задерживала дыхание.

За наружным стеклом стоял внутренний сосуд — высокий, прозрачный, как колба без горлышка. Он сидел на подставке в мягком креплении, сверху и снизу к нему подходили тонкие трубки. Внутри была жидкость, желтоватая, как некрепкий чай, а в ней, в тонкой сетке, — светлая складчатая структура размером с два моих кулака. Не белая, а кремовая с розовым, вся в мелких складках, будто кто-то свернул длинную-длинную ленту и сжал в ладонях. Вокруг неё в жидкости виднелись тонкие линии, то ли нити, то ли течения, и если долго смотреть, казалось, что они еле-еле движутся.

Мама, когда я была маленькая, говорила, что это похоже на облако. Марк, когда я ему описала, сказал — на грецкий орех. По-моему, это ни на что не похоже. Только на себя.

— Это я, — сказала я когда-то Сомову, лет в шесть, и ткнула пальцем.

— Это ты, — согласился он. — Только стекло пальцами не трогай, хозяйка, мне потом оттирать.

Я смотрела и сейчас. Я всегда пыталась что-нибудь почувствовать — как от своей детской фотографии, где себя не помнишь, но знаешь, что это ты, и от этого тепло. Тепло не становилось. Становилось тихо, как в библиотеке. Как будто смотришь на спящего и боишься разбудить.

Сомов поводил над стеклом датчиком, глянул в планшет, кивнул.

— Всё. — Стекло начало темнеть. — Красавица.

— Виктор Петрович, — позвала мама. — Чаю?

— Если с макаронами — не откажусь.

Он ел у нас на кухне, в бахилах, и хвалил мои макароны: пересолено, но в его возрасте соль — это радость. Потом, когда мама наливала ему чай, сказал ей будничным голосом, как про погоду:

— Через два года, Елена Викторовна, будем готовиться к переезду. Подготовительную карту получили?

— Получила.

— Там обследования с семнадцати, по графику. Не затягивайте, а то в сентябре все разом бегут, очереди.

— Не затянем. — Мама посмотрела на меня и улыбнулась. — Правда, Ась?

— Правда.

«Переездом» в Службе называют перевозку сосуда из дома в Центр перед возвращением. Я знаю это слово с детства, и оно мне всегда нравилось. Как будто «она» просто переезжает на другую квартиру, поближе ко мне.

* * *

Когда Сомов ушёл, а папа сел перед телевизором и тут же уснул, мама достала альбом.

Он лежит у неё в шкафу на верхней полке, рядом с документами. Большой, тяжёлый, в синей обложке с ласточкой: такие в Службе выдают всем семьям, а вкладыши потом докупают. На обложке мама когда-то написала фломастером: «Ася». Внутри — я. С самого начала: больничная бирка на ниточке, первый зуб в пакетике, все фотографии, которые мама сочла важными. Под каждой — подпись круглым маминым почерком. «Асе 3. Первый раз сама на горке. Очень гордая». «Асе 7. Первое сентября. Бант больше головы». «Асе 11. Починила папе радио. Папа в шоке».

Это восстановительный альбом. Он на потом. Когда мне вернут память, этих лет я помнить не буду — они не сохраняются, это все знают. Зато будет альбом, и я смогу посмотреть, что со мной было, пока я росла второй раз. Мама говорит, это как дневник, который за тебя написал человек, который тебя очень любит.

— Дай сегодняшнюю, — сказала мама.

Я дала ей телефон. Она выбрала снимок из Службы — я на белом диване, с коробочкой, лицо очень серьёзное — и отправила на печать. В коридоре зажужжал принтер. Мама принесла

тёплую фотографию, наклеила на чистую страницу, разгладила ладонью и подписала: «Асе 16. Подтверждение. Очень серьёзная. Мы гордимся».

— А можно я тоже?

— Что тоже?

— Тоже что-нибудь вклею. Осиное гнездо.

Мама засмеялась.

— Давай. Это же твой альбом.

Я нашла фотку из мастерской: серые соты на ладони и сбоку папино плечо. Мама распечатала. Я приклеила её на следующую страницу, вкривь, и взяла мамину ручку.

И застряла.

Мама подписывает альбом в третьем лице: «Асе 16», «очень серьёзная». А мне хотелось написать как письмо. Марк так делает в своём альбоме, он мне показывал. Пишет туда себе будущему, с шуточками: «Привет, старик. Вот это я съел на спор. Не повторяй». Мне всегда казалось, что это смешно и правильно.

Я поднесла ручку к бумаге. «Дорогая я...» — и не написала.

Потому что «дорогая я» звучало как начало заговора. Как будто я пишу кому-то, кто будет сидеть на этом месте, листать альбом, смотреть на моё осиное гнездо и не помнить, как оно шуршало в колонке. Кому-то, кто будет мной. Кто сейчас спит в маленькой комнате за тёмным стеклом.

— Ась?

— Сейчас.

Я написала: «Внутри колонки „Причала“. 62 Гц. Не верь папе, оно было маленькое». И всё. Без обращения.

Мама прочитала, засмеялась, закрыла альбом и прижала к груди, как кота.

— Иди спать. Бельё я перестираю. С укусом.

— Я сама.

— Я сама. Ты схему рисуй. У тебя пятница.

Она поцеловала меня в другой висок и ушла в ванную, и через минуту оттуда донеслось, как она напевает. Что-то весёлое и громкое из «Настиных» песен, которые она любила включать, пока готовила, — про лето и про то, что «мы будем вместе».

Я лежала в темноте и слушала её, и машинку, и установку за стеной. Клапан щёлкнул. Насос вздохнул.

Песня мне не нравилась. Совсем. Я подумала, что через два года, наверное, понравится. И что это, наверное, хорошо.

Глава 4. Разрешение

Сентябрь. До возвращения памяти: 714 дней

Схему я отправила Дине в пятницу в двадцать три пятьдесят восемь.

В субботу утром пришло: «Пятница — это до 23:59. Формально успела». И через минуту: «Схема хорошая. Цены где?» Цены я не успела, так и написала. Дина ответила одним словом: «Понедельник». Без точки. Значит, простили, но взяли на карандаш.

В понедельник первым уроком была физика. Контрольная.

* * *

Ефим Борисович раздал листки и сел, сложив руки на животе. На вид ему было лет сорок, а на самом деле — я так и не смогла посчитать. Возвращение он прошёл лет двадцать назад и иногда говорил «в моё первое время», и тогда класс замирал, потому что дальше шла история. Про то, как в его первое время физику учили по бумажным учебникам, а на лабораторных были настоящие провода, которые били током, «и ничего, все выжили, кроме Петрова, но Петров был сам виноват».

Ефима Борисовича любили, он был лучший учитель в школе. Я иногда смотрела на него и думала: вот так это и будет. Он помнит всё своё и ещё двадцать лет сверху. Интересно, есть у него альбом? И смотрит ли он его?

Контрольная была на цепи, и я её завалила.

Ну, не совсем — на тройку. Но обидно, потому что цепи я знаю руками. Пробитый конденсатор в усилителе я найду по запаху. А на бумаге, где надо было посчитать сопротивление участка по формуле, у меня всё не сходилось, я переделывала, и время кончилось на третьей задаче из пяти. Ефим Борисович, собирая листки, заглянул в мой.

— Левина, вы же паяете.

— Паяю.

— Тогда почему у вас тут ток течёт в обратную сторону?

— Устал, — сказала я.

Класс заржал. Ефим Борисович тоже засмеялся, но тройку не исправил.

* * *

На третьем уроке пришла медсестра из Службы.

Она приходит раз в месяц, по понедельникам, и стучится в класс посреди урока: у неё график на три школы. Синяя куртка, ласточка на спине, папка. Историчка замолчала на полуслове: «Громов, Левина». Мы с Марком встали.

— Черновики, на выход, — сказал с задней парты Влад Курочкин.

Он говорит это каждый месяц. Сначала было обидно, потом стало как пароль. Марк, проходя мимо, щёлкнул его по затылку, Влад сказал «ай» — тоже каждый месяц.

Восстанавливающихся в нашем классе двое. В параллельном — один, мальчик, которого вернут через три года. Нас особо не обижают. «Черновики» — не злое слово, его придумали задолго до нас, может, ещё до наших прежних. Так называют тех, кто пока не окончательный: черновик потом перепишут начисто. Я однажды спросила маму, обидно это или нет. Мама сказала: «Ну а что, черновик — самое интересное. Там все мысли живые».

Медсестра расположилась в пустом кабинете биологии. Давление, фонарик в глаза, стандартные вопросы: как сплю, как ем, болит ли голова, не появлялись ли «необычные воспоминания или ощущения знакомства».

Этот вопрос задают с детства. Обязательно.

— Нет.

— Совсем ничего? Ни во сне, ни как дежавю?

— Ничего.

— Нормально, — сказала медсестра и поставила галочку. — Так и должно быть. Их и не бывает. Просто положено спросить.

Марк ждал в коридоре у окна и грыз яблоко.

— Тебя про необычные воспоминания спросили?

— Спросили.

— А я сказал, что помню, как ты мне семечки должна.

* * *

Ольга Андреевна принимала после уроков в кабинете профориентации — он же кабинет проектной работы, он же склад старых глобусов. Глобусы стояли на шкафах в ряд, у одного Африка была заклеена скотчем.

Мы пришли вдвоём с Диной. Дина выложила на стол блокнот, мою схему, распечатку Ильи по свету (он сдал её в пятницу, на неделю раньше срока, и меня это почему-то бесило) и смету, где мои цены были вписаны карандашом — досчитывала на перемене.

— Нам нужен взрослый ответственный, — сказала Дина. — От школы. Иначе Тамара Сергеевна ключ не даст.

Ольга Андреевна полистала бумаги. Невысокая, очки на цепочке, всегда в каком-нибудь вязаном жилете. Говорили, ей пятьдесят и одевается она как библиотекарьша из старого кино нарочно, чтобы её не принимали всерьёз и не мешали работать.

— Могу оформить как проект практической направленности. Тогда пойдёт вам в портфолио. Мне удобно, вам полезно. Но сразу: я подписываю, отвечаю и хожу к Тамаре Сергеевне на переговоры. Скамейки я не мою, колонки не таскаю, отчёты за вас не пишу. Бросите в ноябре — меня будут ругать на педсовете, и этого я не прошу.

— Не бросим, — сказала Дина.

— Все так говорят. — Ольга Андреевна сняла очки и посмотрела на меня. — Левина, вам это особенно полезно. У вас в карте отметка про индивидуальную траекторию.

— Какая ещё отметка?

— Обычная. У всех восстанавливающихся. — Она развернула ко мне монитор. В моей школьной карте, в графе «Профессиональная траектория», стояло мелким шрифтом: «Предварительно. Подлежит согласованию по завершении восстановительного развития». — Ничего страшного. Учебные заведения видят это и понимают, что выбор у вас пока предварительный. Но портфолио всё равно пригодится. Потом.

— Потом — это после возвращения? — спросила Дина.

— Ну конечно. Если интерес сохранится.

Я кивнула. Логично же. Если в восемнадцать мне вернут память, а память захочет петь со сцены про йогурт, зачем ей мой звук. Просто раньше мне не приходило это в голову.

— Тогда мне нужен реальный график, — сказала Ольга Андреевна. — Кто, сколько часов в неделю, когда. Не «мы постараемся», а цифры. Завтра.

* * *

График мы сочиняли в столовой, за угловым столом у окна. Дина разлиновала лист: дни недели поперёк, люди вдоль.

— Ты. Сколько часов?

— Сколько надо.

— Ась.

— Ну правда. Сколько надо, столько и буду.

Дина положила ручку.

— Давай считать. Понедельник — у тебя ужин. Вторник и четверг — мастерская. Четверг — ещё магазин и ужин. Среда — музыкалка? А, нет, ты её бросила. Ладно. Пятница, суббота, воскресенье. Плюс уроки. Плюс в субботу ты обещала Марку помочь с альбомом, я слышала. Плюс в четверг алгебра, а по физике ты сегодня схватила три.

— Ты-то откуда знаешь?

— У тебя было такое лицо, будто ток течёт в обратную сторону. — Дина застрочила по клеточкам. — Вот. Смотри. Если делать всё, что ты всем наобещала, получается тридцать один час в сутки.

Она правда посчитала. Таблица, и в правом нижнем углу обведено кружком: 31.

— Успею, — сказала я.

— Не успеешь. В прошлую среду не успела.

— Там было гнездо.

— Там всегда будет гнездо! — сказала Дина так громко, что за соседним столом обернулись. Она понизила голос. — Ась. Я не прошу делать больше. Я прошу сказать, сколько ты реально можешь. Реально. Чтобы я рассчитала остальное. Скажешь десять, а сделаешь шесть — у нас дыра в четыре часа, и я узнаю о ней в пятницу в двадцать три пятьдесят восемь.

Мне стало стыдно и сразу обидно — как всегда, когда стыдно.

— Шесть. Шесть часов в неделю. Вторник после мастерской и суббота.

Дина написала «6», развернула лист ко мне и протянула ручку.

— Подпиши.

— Ты серьёзно?

— Серьёзно. Подпиши, что понимаешь.

Второй раз за две недели я подписывала, что понимаю. В первый раз был экран в Службе, и всё мигнуло зелёным. Сейчас — столовский стол в крошках и лист в клетку. Я расписалась под шестёркой, Дина забрала лист и спрятала в блокнот.

— Спасибо. — И вдруг улыбнулась, впервые за неделю, как раньше. — Ты не представляешь, какой это кайф, когда человек пишет цифру.

* * *

Во вторник после уроков мы пошли в клуб: я, Дина и Ольга Андреевна. Илья обещал подойти, но у дяди была свадьба — «двести гостей и ледяной лебедь». Марк обещал и подошёл, с опозданием и с двумя пирожками, один из которых протянул Тамаре Сергеевне. Она взяла.

Сидели у неё в кабинете, тесном, заставленном кубками хора ветеранов. Говорили в основном взрослые. Ольга Андреевна листала нашу папку и задавала вопросы, которые нам бы в голову не пришли: кто отвечает, если кто-то упадёт со сцены; кто платит за электричество; можно ли показывать бесплатно или нужен договор. Тамара Сергеевна отвечала коротко и точно. Иногда они обе смеялись над чем-то своим — над каким-то методистом из управления, который двадцать лет назад что-то запретил им с прожекторами.

Мы с Диной сидели на краешке дивана. Марк стоял у окна и доедал второй пирожок.

— Так, — сказала наконец Тамара Сергеевна. — Первое ноября. Это ваша проверка. К первому ноября зал убран. Не отремонтирован — убран. Мусор вывезен, голуби выселены, сломанные доски сняты и сложены. Акт электрика есть. Список оборудования по звуку и свету — с ценами и с тем, где возьмёте. Тогда я пишу в управление, что есть инициативная группа и проект, и прошу разрешение на летний сезон. Если к первому ноября этого нет — закрываю журнал, и ищите себе другое хобби.

— А если есть? — спросил Марк.

— Если есть, начнётся самое скучное. Но это потом.

Она достала из ящика толстую тетрадь в клеёночной обложке: «Журнал посещения летнего зала». На первых страницах — старые записи семилетней давности, синими чернилами, мелким почерком: «Тихонов. 18:00 — 23:40. Сеанс. Зрит. 112». Последняя: «Тихонов. 19:00 — 19:30. Сеанс отменён. Дождь».

Тамара Сергеевна открыла чистую страницу и протянула мне журнал и ручку.

— Пишите. Сегодня первый день.

Я написала: «25.09. Левина, Соколова, Громов. Пришли 16:10». От волнения почерк вышел крупный и кривой, как в первом классе. Тихонов, наверное, тоже так писал в первый раз. А потом семь лет не писал никто.

* * *

Вечером на холодильнике под магнитом с ласточкой висел новый лист.

Мама повесила его днём. Подготовительная карта из Службы — та самая, про которую говорил Сомов. Аккуратная таблица на два года: обследования, консультации, «беседа с семейным психологом (по желанию)», «школьная справка», «подготовка домашнего хранения к переезду». В самом низу жирным: «Завершение восстановительного развития: по достижении 18 лет». А рядом мама синей ручкой обвела дату: 07.09.

Я постояла перед холодильником. Потом распечатала Динин график — копию она прислала вечером — и повесила рядом, под тот же магнит. Магнит был маленький, листы съезжали друг на друга.

На холодильнике висели два расписания. Одно — моё, на шесть часов в неделю. Другое — тоже моё, на два года.

Я поправила их, чтобы не падали, и пошла резать хлеб к ужину.

Глава 5. Списанное

Октябрь. До возвращения памяти: 704 дня

Всё, что нашлось в кладовке клуба, влезло в одну тележку. Тележку Тамара Сергеевна выдала под расписку и предупредила, что у неё заедает левое колесо. Заедало не левое, а оба. Я тащила её от клуба до Кирпичной сорок минут, и прохожие оглядывались, будто я стащила кусок прошлого века.

В тележке лежали: усилитель, большой и серый, с ручками, как у старой плиты; микшерный пульт с половиной кнопок; две маленькие колонки, которые мы с Ильёй сняли с правого столба (на левый я не полезла, хотя очень хотелось); и коробка кабелей, перепутанных так, будто их годами вязала кошка.

Папа вышел из мастерской, вытирая руки тряпкой, заглянул в тележку и надолго замолчал.

— Ну, — сказал он наконец. — Давай знакомиться.

* * *

Знакомился он быстро. Пульт перевернул, отвинтил дно, посветил фонариком, понюхал и отставил: «Да. С работой, но да». Колонки поднял по одной, послушал, как в них что-то перекачивается, поставил на пол: «Нет». Кабели вывалил на стол, вытянул наугад три, согнул, посмотрел на трещины в изоляции: «Нет с особой жестокостью».

Я прыснула. Это была Ильёва фраза в пересказе Марка; я пересказала её папе, и папа её присвоил. У нас в семье все фразы так и расходятся.

Потом папа подошёл к усилителю. Снял крышку. Наклонился. Понюхал.

— Нет.

— Почему?

— Трансформатор.

— Ты его даже не включал!

— Я понюхал. — Он показал отвёрткой. — Лак видишь? Потемнел. И горелым пахнет. Обмотка закоротила, давно. Новый трансформатор на такую модель стоит как новый усилитель. Не стоит оно того.

— Это родной усилитель «Волны». Он там тридцать лет простоял.

— Вот именно. Тридцать лет. Пусть отдохнёт.

— Пап. Ты же сам пишешь: «не выбрасывайте».

— Я пишу: не выбрасывайте то, что можно починить. — Папа положил отвёртку. — Ась, тут не про сантименты. Тут про деньги. У вас бюджет, Дина мне показывала. Потратите половину на трансформатор — на динамики не хватит.

Дина показывала папе бюджет. Ну конечно. Дина всем показывает бюджет. Обидно мне стало не из-за Дины, а потому что папа уже всё решил и меня даже не спросил. Как будто я принесла ему игрушку, а он: «Сломана, не плачь».

— Ты мне не доверяешь.

— Тебе доверяю. Трансформатору не доверяю.

— Ты мне даже посмотреть не дал.

Папа глянул на меня поверх очков. Он редко так смотрит — обычно в лупу или в сторону.

— Смотри. Мне к бабе Кате, у неё приёмник. Полчаса. Смотри сколько влезет.

И ушёл к прилавку, где уже ждала старушка в пальто с огромным радиоприёмником в сетке, похожим на спящего кота.

* * *

Я смотрела.

Сначала просто глазами. Лак на трансформаторе правда тёмный — но, может, от времени. Пахнет — но в клубной кладовке всё так пахло: пылью, мышами, старым деревом. Предохранитель сгорел. Может, всё дело в нём? Может, усилитель тридцать лет простоял, а потом кто-то сунул его не в ту розетку, предохранитель сделал своё дело и спас остальное, и теперь надо только его поменять, и «Волна» снова заговорит своим голосом.

Я поменяла предохранитель.

Сразу в розетку включать не стала. Папа учил: старую технику, про которую не знаешь, что у неё внутри, включают через лампочку. Обычную лампу накаливания, последовательно, в разрыв провода. Если внутри порядок, лампочка вспыхнет и погаснет или будет еле тлеть. Если короткое замыкание — загорится в полный накал, и удар примет она, а не прибор и не ты. Это первое, чему папа меня научил, лет в десять, вместе с тем, что пальцы в розетку не суют, даже если очень интересно.

Удлинитель с лампочкой у папы всегда стоит под столом. Я подключила усилитель. Глянула на прилавок: папа стоял спиной и объяснял бабе Кате про антенну. Нажала кнопку.

Лампочка вспыхнула и не погасла. Она горела ровно и ярко, в полную силу, как будто ей очень радостно. В мастерской даже посветлело.

У меня загорелись уши.

Короткое. Трансформатор. Он был прав.

Я выключила. Посидела. Зачем-то поставила обратно старый, сгоревший предохранитель — наверное, чтобы всё было как было, — и завинтила крышку.

Папа вернулся через двадцать минут. Посмотрел на удлинитель с лампочкой, который я забыла убрать. Посмотрел на меня.

— Ну?

— Короткое. Трансформатор.

— Ага, — сказал папа.

И всё. Не «я же говорил», не смешок, не лекция. Убрал удлинитель под стол и сел работать. Хуже бы не придумал. Скажи он «я же говорил» — можно было бы на него разозлиться. А так злиться было не на кого, кроме себя.

* * *

Илья пришёл в шесть. Я его не ждала. Он вошёл, пригнувшись — потолок в полуподвале низкий, а он длинный, — пожал папе руку, как взрослый, и поставил на мой стол картонную коробку.

— Это что?

— Пищалки.

В коробке лежали два высокочастотных рупора, белые, пластиковые, с наклейкой «Праздник под ключ. Инв. № 214».

— Дядя списал. Они живые, просто корпус треснул, клиентам не покажешь. А нам сойдёт. Ставишь на новые динамики, и будет верх. Иначе на задних рядах голоса как из бочки.

Рупоры были свадебные. Я знала этот звук: когда в ресторане тамада орёт «горько!» — вот это он и есть. Пронзительный, как сверло.

— Они будут звенеть.

— Не будут.

— Будут. Это свадебные пищалки. Они звенят. У них звук как у... — я поискала слово, — как у будильника.

— У них звук как у того, во что их вставишь, — сказал Илья. — На свадьбах звенят, потому что дядя выкручивает верх на максимум, чтоб перекричать гостей. Если нормально настроить...

— Не хочу я свадебный звук в «Волне».

Я сама слышала, что несущую. Но я только что продула трансформатору, а продуть ещё и Илье — в один день — было выше моих сил.

Илья пожал плечами.

— Как хочешь. Пусть стоят. Не пригодятся — отдашь.

— Дай-ка, — сказал папа.

Он взял рупор, подключил к генератору, пустил тон. Потом второй. Медленно повёл частоту вверх, до самого писка, слушая с наклонённой головой, как дыхание спящего ребёнка. Выключил.

— Нормальные. Ровные. Звенеть не будут, если не перегружать. — Он сложил рупоры обратно в коробку. — Спасибо, Илья. Хорошая вещь.

Сказал он это Илье. Не мне. Я сидела и чувствовала себя той лампочкой под столом: горю в полный накал, и всем видно.

— И ещё, — сказал Илья как ни в чём не бывало. Он умел не замечать, когда кто-то выставляет себя дураком, — и я до сих пор не решила, благородно это или обидно. — Дядя говорит, в Заречье на складе управления культуры списывают звук со старого Дворца спорта. Там всё: динамики, усилители, стойки, кабели. Отдают бесплатно учреждениям. Клуб — учреждение. Надо, чтобы Тамара Сергеевна написала письмо, и забрать самим. Я договорился с завскладом по телефону, Нестеренко его фамилия. Ждёт нас в субботу через неделю, в девять. Он только до двенадцати.

— Ты договорился? Сам? Без нас?

— Я позвонил. А надо было не звонить?

Я не знала, что надо было. Я хотела, чтобы это придумала я.

— Звук — мой участок.

— Ну я и говорю. — Он развёл руками. — Твой. Поедешь — выберешь. Я в этом не шарю, я только свет. Я просто позвонил.

Папа за своим столом кашлянул так, что стало ясно: смеётся.

* * *

Илья ушёл в семь. Мы с папой закрыли мастерскую, опустили железную ставню, и пока папа возился с замком, я стояла на ступеньках. Фонари уже горели. Октябрь начался сразу, без перехода, будто кто-то щёлкнул тумблером.

— Хороший парень, — сказал папа, пряча ключи. — Руки правильные.

— Он всё решает за всех.

— Он позвонил на склад.

— Без нас.

— Ась, — сказал папа. — Ты на него злишься, потому что он неправ? Или потому что он прав раньше тебя?

Я не ответила. Мы пошли к остановке. Папа шёл медленно — к вечеру у него всегда болит колено, — и я подстраивалась под его шаг, как в детстве, когда держалась за его палец.

— Пап, — сказала я на остановке. — А я тогда ходила к тебе в мастерскую?

Он ответил не сразу.

— Ты — нет. Ты тогда не ходила. Тебе было скучно. Один раз пришла, посидела пять минут и сказала, что пахнет как у зубного.

— А паяльник я брала?

— Ты паяльника боялась. — Папа смотрел туда, откуда должен был прийти автобус. — Я тебя учить пробовал, лет в двенадцать. Ты обожглась и сказала, что это не женское дело. Я тогда расстроился. Глупо.

Я попробовала представить себя, которая боится паяльника. Которой скучно в мастерской, где пахнет канифолью и тёплой пылью и где всё на свете можно разобрать и понять. Не получалось. Как представить себя левшой.

— Пап. А ты видел, что мама повесила на холодильник?

— Видел.

— Она дату обвела.

— Ага.

Я ждала. Мне казалось, сейчас он что-то скажет. Молчать спокойно он умеет, но это было другое молчание — как пауза перед тем, как щёлкнет реле. Он смотрел на дорогу. По его лицу проехал свет фар — машина, не автобус.

— Колено, — сказал папа. — К дождю.

Автобус пришёл через две минуты. Мы ехали молча. Папа держал на коленях коробку с Ильёвыми пищалками, которую забыл оставить в мастерской, и всю дорогу придерживал её рукой, хотя она никуда не падала.

Глава 6. Двум обещали

Октябрь. До возвращения памяти: 695 дней

Речной трамвайчик в Заречье отходит в восемь двадцать, и в субботу утром на нём едут только рыбаки, дачники с пустыми вёдрами и мы.

Дина не поехала: по субботам она сидит с братьями-двойняшками, Петей и Гошей, пока мама на смене в порту. Зато в семь утра прислала список из девяти пунктов. Пункт первый: «Без подписи Нестеренко ничего не берите». Пункт девятый: «Сохраните билеты на трамвай, это расходы». Между ними — про перчатки, про грузовое такси (девятьсот, не больше) и почему-то про то, чтобы Марк не разговаривал с завскладом, «потому что он его заговорит, и мы получим не то».

Марк прочитал это на причале и обиделся на весь день. Ровно на четыре минуты.

Река была белая от тумана. Трамвайчик шёл сквозь туман, как сквозь вату, и сам себе гудел, чтобы никто не врезался. Я сидела на корме на мокрой скамейке и слушала, как внизу работает дизель — с маленькой запинкой на каждом пятом такте. Илья сидел напротив и смотрел на воду. Марк ходил по палубе и знакомился с рыбаками.

— Ты не спала, — сказал Илья.

— Спала.

— У тебя лицо человека, который считал ватты до трёх ночи.

До двух. Я не знала, что там на складе, и составила три списка: если динамики целые, если рваные, если вообще ничего нет. Илья глянул на мою папку, промолчал, достал из кармана термос и налил мне чаю в крышку. Сладкий, с лимоном. Я выпила и сказала «спасибо». Первое, что я сказала ему без раздражения.

* * *

Склад управления культуры оказался бывшим ангаром для ремонта катеров: огромная железная коробка на берегу, ржавые ворота, кривая вывеска. Внутри холоднее, чем снаружи, пахнет мазутом, старым бархатом и мышами. Под потолком на цепях висели прожекторы, а внизу, между стеллажами, стояло всё, что город за сто лет решил не выбрасывать: театральные кресла рядами, гипсовые бюсты, бутафорская карета без колёс, пианино с открытой крышкой.

Нестеренко был маленький, сухой, в ватнике и очках, с журналом под мышкой и карандашом за ухом. Он пересчитал нас по головам, как Тамара Сергеевна.

— Клуб «Речник»?

— Да, — сказал Илья. — Мы звонили.

— Звонили, звонили. — Нестеренко полистал журнал. — Тут ещё одни звонили.

Из-за стеллажа вышли трое. Парень лет девятнадцати в кожанке с нашивками, кончики волос крашены в синий. За ним две девушки, у одной из заднего кармана торчали барабанные палочки — похоже, без них она из дома не выходит. Рок-кружок из заречного Дома творчества. Парень сам представился — Костя — и пожал руку Илье, мне и Марку. Ладонь у него была в мозолях, как у папы.

— Вы за звуком?

— За звуком, — сказала я.

— Мы тоже.

Мы стояли в проходе двумя кучками и молча смотрели друг на друга. Потом все посмотрели на Нестеренко.

— Ну и чего вы на меня уставились? — сказал Нестеренко. — Я обещал и тем, и этим. Списали одно. Кто первый подпишет, тот и забирает. Я вам не царь Соломон, пилить не буду.

* * *

Звук со старого Дворца спорта стоял в дальнем углу под брезентом. Нестеренко сдёрнул брезент, как фокусник, и чихнул.

Две огромные чёрные колонки — в каждой за сеткой по шесть динамиков, сверху рупор. Рядом два усилителя в стойке и четыре сценических монитора, маленьких, треугольных. А у самой стены — две высокие узкие штуки в рост человека, и в каждой по восемь динамиков, один над другим. Между ними громоздились катушки кабеля и пульт, на котором под пылью ещё проступали белые метки фейдеров.

Я подошла к большим колонкам и постучала по корпусу. Корпуса пережили сырость. Два нижних динамика на одной выглядели живыми, остальные надо было проверять по одному. Я провела пальцем по сетке — осталась светлая полоса. Мне их ужасно хотелось. Чёрные, огромные, красивые. Вот это была бы «Волна».

— Нам нужны эти, — сказала я. — И усилители.

— Нам тоже нужны эти, — сказал Костя. — И усилители.

— У вас же есть колонки. У любой рок-группы есть колонки.

— Есть. Усилителя нет, сгорел в августе. И колонки у нас — так себе.

— А у нас вообще ничего. Мы открываем летний кинотеатр. У нас проверка первого ноября.

— А у нас концерт двадцатого октября.

— Двадцатого — это через неделю, вы всё равно ничего не успеете настроить.

— Это ты так решила?

Он начинал заводиться. Я тоже. У меня краснела шея, Илья за спиной переминался с ноги на ногу, а Марк, наоборот, замер. Нестеренко стоял в сторонке с журналом и смотрел на нас, как человек, который видел это раз сто.

И тут я сказала то, чего не надо было говорить.

— Слушай. Нам правда нужнее. Нам надо быстрее. Мы с ним, — я кивнула на Марка, — восстанавливающиеся. У нас два года. Через два года нам вернут память, и мы даже не вспомним, что что-то тут делали. Мы хотим успеть, понимаешь? Хоть одно лето.

И сразу услышала, как это звучит. Как «пропустите без очереди, у меня нога». Я никогда раньше так не говорила. Никто так не говорил. Дома и в школе «два года» было просто фактом, вроде роста или группы крови.

Костя посмотрел на меня. Потом на Марка.

— А мы что, вечные?

Девушка с палочками хмыкнула. Марк смотрел в пол.

— Так, — сказал Нестеренко и захлопнул журнал. — Знаете что. Раз вы оба такие нуждающиеся, не получит никто. Пусть стоит. У меня в понедельник инвентаризация, спишу в утиль — и всё. — Он развернулся и пошёл между стеллажами. — Брезент на место.

* * *

Мы стояли и молчали. Под крышей хлопали крыльями голуби. Девушка с палочками начала нервно отбивать что-то по закрытой крышке пианино и сбилась.

— Подождите, — сказал Илья.

Нестеренко остановился, но не обернулся.

— Подождите, — повторил Илья и шагнул к Косте. — Слушай. Вам что надо? Усилитель, так? И мониторы. Колонки у вас есть, вам надо, чем качать, и чтоб вы себя на сцене слышали. Так?

— Ну.

— А большие колонки вам куда? Зал у вас какой?

— Актный. На двести.

— На двести мест эти колонки — из пушки по воробьям. Вы всех оглушите. Вам свои лучше, с нормальным усилителем. — Илья повернулся ко мне. — А нам нужны колонки. Мощ-

ный усилитель нам не нужен. У нас на улице проблема — эхо от стены. Ты сама говорила. Нам не громко надо, а направленно.

Он кивнул на две высокие узкие штуки у стены.

— Это что такое? — спросил он меня. Всерьёз спросил.

Я уже поняла, что это. Просто не хотела понимать, потому что мне хотелось чёрные и большие.

— Звуковые колонны, — сказала я. — Линейные. Их вешают в спортзалах и на вокзалах. Звук у них идёт узко по вертикали и широко по горизонтали. Не вверх, а вперёд. — Я сглотнула. — Если поставить их вдоль рядов, звук пойдёт на людей, а не на стену. Эха почти не будет.

— Вот, — сказал Илья. — Значит, нам колонны и второй усилитель, слабый, вон тот, снизу в стойке. Им — большой усилитель и мониторы. А большие колонки пополам: одну нам на сцену, для ведущего и для музыки до сеанса. Одну им, про запас.

— Колонны тяжёлые, — сказала я. — И неудобные. И там восемь динамиков в каждой, все проверять. И перепаявать, если что. И стойки делать.

— Ну, — сказал Илья. — Это ж твой участок.

Костя переводил взгляд с него на меня. Девушка с палочками перестала стучать.

— Мне подходит, — сказал Костя. — Если усилитель целый.

— Целый.

Мы обернулись. Нестеренко стоял в проходе, сдвинув очки на лоб, и смотрел на Илью с каким-то новым интересом.

— Целый, — повторил он. — Сам проверял. — И снова открыл журнал. — Ладно. Пишите. Каждый за своё, отдельной строкой. И брезент всё равно на место.

* * *

Подписали в одиннадцать сорок. Потом таскали.

Колонны весили килограммов по тридцать и были неудобные, как гроб для жирафа. За середину не возьмёшь, центр тяжести гуляет, — несли вдвоём, Илья спереди, я сзади, а Марк шёл первым, открывал двери и командовал: «Левее! Правее! Осторожно, карета!» Большую колонку тащили втроём и чуть не уронили на гипсового Пушкина. Костя с девчонками погрузил усилитель в «газель» своего Дома творчества, а потом вернулся и помог нам дотащить вторую колонну до ворот, хотя мог и не помогать.

Грузовое такси приехало в половине первого и стоило девятьсот двадцать. Двдцатку Марк доплатил из своих, чтобы Дина не узнала.

Пока ждали машину, расселись все вместе на ящиках у ворот. У Кости в рюкзаке нашлись пирожки с капустой, у нас — мамины бутерброды на четверых, хотя нас было трое: мама всегда считает с запасом. Поменялись. Девушку с палочками звали Ксюша. Она спросила Марка, правда ли, что после возвращения вообще ничего не помнишь. Марк сказал «правда» и пустился рассказывать про альбом, куда пишет себе будущему всякие глупости, и Ксюша хохотала.

Потом Марк отошёл к воде. Я пошла за ним.

Он стоял на краю причала. Туман уже сошёл, и стало видно наш берег: клуб, жёлтую стену, вывеску.

— Не делай так, — сказал он, не оборачиваясь.

— Как?

— Не козырай этим. Двумя годами. Ну, нами.

— Я не козыряла. Я объясняла.

— Козыряла. — Он обернулся. Он не злился, у Марка вообще редко получается злиться. Но лицо было серьёзное, как на Подтверждении. — Мне не надо, чтоб меня жалели, Ась. Мне

нормально живётся. Я не больной. Через два года будет ещё лучше, вот и всё. А ты сказала так, будто мы... — он поискал слово, — будто мы скоро кончимся.

Я хотела сказать, что он не так понял. Что я не это имела в виду. А потом подумала: а может, это. Что-то такое и имела, просто не знала, пока не сказала вслух.

— Прости.

— Проехали. — Марк улыбнулся и хлопнул меня по плечу. — Пирожок будешь? Я у Ксюши два стащил.

* * *

Обратный трамвайчик уходил в два десять. Успели. Колонны поехали на такси на клубный склад, Илья с ними — сдавать Тамаре Сергеевне под роспись. Мы с Марком сели на трамвайчик вдвоём.

Марк сразу уснул на скамейке, подложив под голову рюкзак. Я сидела на корме, смотрела, как приближается наш берег, и думала про колонны.

Илья был прав. Его вариант был лучше — и не просто для всех, а для «Волны». Возьми мы большие колонки, поставили бы их на сцену, включили, и на задних рядах каждое слово звучало бы дважды, как в бане, а я бы всё лето воевала с эхом. Колонны быют вперёд, а не вверх. Я это поняла сразу, как их увидела. Просто они были неудобные и некрасивые, а мне хотелось красивое.

Я достала телефон и написала Илье. Стёрла. Написала снова: «Твой вариант лучше». Отправила, пока не передумала.

Через минуту: «Я знаю».

Я фыркнула так, что Марк на скамейке заворочался.

Потом пришло ещё: «Но про эхо придумала ты. Без этого я бы взял не те».

Я смотрела на это сообщение, пока трамвайчик не стукнулся о причал. Потом убрала телефон, растолкала Марка и пошла на берег. Колонны надо было проверять — все шестнадцать динамиков, — и стойки делать, и перепайвать, если что. Работы гора. Мой участок.

Дине я написала с причала: «Взяли. 920. Не ругайся».

Дина: «Двадцать — из твоих».

«Из Марковых».

«Тем более».

Глава 7. Чужая смена

Октябрь. До возвращения памяти: 685 дней

В понедельник на перемене Марк поймал меня у автомата с водой.

— Ась. Спаси.

У Марка все просьбы начинаются со «спаси». «Спаси, дай списать». «Спаси, у меня нет ручки». «Спаси, я сказал Дине, что ты придёшь». Я давно перестала на это слово реагировать, как перестают слышать будильник.

— Ну?

— Завтра моя смена в «Волне». Уборка, с четырёх до семи. А у Вари день рождения. Пять лет. Стас сказал: если я не приду, Варя будет плакать, если Варя будет плакать, Стас будет плакать, а если Стас будет плакать, мама скажет, что я плохой сын и плохой брат, и всё это в один вечер. — Он молитвенно сложил руки. — Я потом две смены за тебя отработаю. Три.

— Давай, — сказала я.

Не думая. Как всегда. Марк просиял, обнял меня одной рукой и умчался на алгебру, а я осталась у автомата. Автомат урчал, и мне было приятно, что я кого-то спасла.

* * *

Во вторник в три сорок я вписала в журнал Тамары Сергеевны: «23.10. Левина (за Громова). 15:40». И пошла убирать.

Уборка в «Волне» в октябре — это листья. С тополей вдоль забора, с яблони в седьмом ряду и ещё откуда-то, хотя других деревьев рядом нет. Листья лежали между скамейками по щиколотку, мокрые, тяжёлые, пахли грибами. Я сгребала их граблями в кучи, кучи — в мешки, мешки волокла к контейнеру у задней двери. На шестом мешке заболела спина. На десятом — руки. На двенадцатом позвонил папа.

— Ась, ты где?

— В «Волне». Уборка.

Пауза.

— А платы?

Я остановилась с мешком в руках.

Платы. Двенадцать плат для «Пышечной» — электронные меню над прилавками, на старых экранах, которые хозяин сети не хотел менять, а хотел чинить. Папа взял заказ на всю сеть, шесть кафе, и в среду утром должен был приехать курьер. Договорились так: во вторник к четырём папа идёт к врачу с коленом, а я после школы сижу в мастерской и меняю на платах конденсаторы. Двенадцать плат по четыре конденсатора, работа простая и тупая, как картошку чистить. В пятницу я сама сказала: «Пап, иди к врачу, я всё сделаю».

Не думая. Как всегда.

— Я забыла, — сказала я.

Пауза была длинная. Я слышала, как на том конце гудит улица, как кто-то рядом с папой говорит «следующий», как папа отходит в сторону, наверное к окну.

— Ну, — сказал папа. — Бывает. Ты там долго ещё?

— До семи. Это не моя смена, это Марка. Я ему обещала.

— Ага. Ну, доделывай. Я после врача сам.

— Пап, у тебя колено.

— Колено у меня давно. — Он помолчал. — Доделывай, Ась. Ничего.

И отключился.

Лучше бы он наорал. Сказал бы, что я безответственная, что он на меня рассчитывал, что курьер утром, а у него колено. Тогда можно было бы оправдываться, или обидеться, или расреветься. А он сказал «ничего» — и это «ничего» было тяжелее мешка.

Можно было бросить уборку. Никто бы не узнал: Тамара Сергеевна уходила в шесть, Дина проверяла только журнал. Но в журнале стояло «за Громова», и я подумала про Марка, который сейчас надувает шарик для Вари. И догребла.

Тридцать два мешка. В семь ноль пять расписалась: «Ушла 19:05». И поехала на Кирпичную.

* * *

Мастерская была заперта, но у меня свой ключ. Я подняла ставню наполовину, чтобы с улицы не было видно свет, включила лампу над папиным столом и нашла платы — в той же коробке, с бумажкой «Пышечная, 12 шт., СР». «СР» — среда.

Двенадцать плат. По четыре конденсатора. Сорок восемь выпаять, сорок восемь впаять. В пятницу я бы управилась часа за три. Сейчас после граблей тряслись руки, и первые две платы заняли час.

Потом руки разогрелись, и пошло. Работа такая однообразная, что голова освобождается и думает о чём хочет. Я думала про Марка. Что он, наверное, уже дома, Варя спит, а он сидит на кухне у тётки Иры и пьёт чай из кружки с отбитой ручкой. Он как-то мне её показывал: «Это его кружка. Ну, моя. Мама её не выбрасывает».

Я ему завидовала. Не по-плохому. Просто у Марка всё было как-то легче. Ему нравилось, что он вернётся. Он ждал этого, как поездки на море. А я... я тоже ждала. Наверное. Просто думала об этом меньше. Мне было интереснее, что будет в «Волне» в июне, чем что будет со мной через два года.

На седьмой плате открылась дверь.

Папа спускался медленно, по одной ступеньке, держась за перила. Посмотрел на меня, на лампу, на плату под лупой. Ничего не сказал. Снял куртку, повесил на крючок, подтащил второй табурет и сел рядом.

— Ты у врача был?

— Был.

— И что?

— Сказал, что колено старое. — Папа взял паяльник и плату. — Я ему говорю: знаю. Он говорит: с вас пятьсот рублей.

Я засмеялась, и он тоже. Дальше паяли молча, плечом к плечу. Папа работает раза в два быстрее меня, но в тот вечер почему-то паял медленно, ровно в моём темпе, так что закончили мы почти вместе, в половине двенадцатого.

Он сложил платы в коробку, закрыл крышку, похлопал по ней ладонью.

— Ты бы позвонила. Днём. Я бы сам после врача сел, мне не трудно. Я бы просто знал.

— Я забыла.

— Знаю, что забыла. Я про в следующий раз. Забыла — позвони, когда вспомнишь. Забыть и не сказать — разные вещи.

Я кивнула. Хотелось сказать что-то ещё, но папа уже встал, поморщился от колена и пошёл гасить свет. Мы заперли мастерскую, опустили ставню. Мама прислала: «Вы где? Опять осы?» Папа ответил: «Платы. Едем». И всё.

Вот и всё наказание. Его не было.

* * *

В четверг я покупала продукты по общему списку. Список у нас висит в семейном чате, каждый дописывает, что кончилось. Мама пишет коротко: «молоко», «гречка», «лампочки 40 Вт». Папа — загадочно: «то печенье». Я пишу в самом конце, когда никто не видит: «шоколадка (мне)». В этот четверг внизу маминой рукой было приписано: «И Марку его сырки. Ира говорит, он их любит, а она забывает».

Я купила Марку шесть сырков с ванилью. Он ел их в школе по два на перемене, и мама об этом знала, потому что так у нас в городе всё устроено.

Отдала я их в пятницу, в «Волне». Мы проверяли колонны.

Колонны стояли на сцене, прислонённые к раме экрана, как два длинных скучных человека на остановке. В каждой по восемь динамиков, и каждый надо было послушать отдельно: подать сигнал, приложить ухо, записать. Я работала, Марк сидел на краю сцены, ел сырки и держал мне провод.

— Третий в левой — мёртвый. Шестой хрипит. Записывай.

— «Третий левый — труп, шестой — при смерти», — записал Марк в мой блокнот. — Ась. Спасибо за вторник.

— Да ладно.

— Не ладно. Варя была счастлива. Я ей фокус с монеткой показывал, она визжала. Стас на видео снял. — Он помолчал. — Положу в альбом.

— Покажешь?

— Альбом?

— Видео.

Он достал телефон. Маленькая девочка в короне из фольги смотрела, как у Марка из уха появляется монетка, и вопила: «Ещё! Ещё!» А за кадром смеялся мужчина — низко, гулко, с хрипотцой. Стас.

— Он смеётся как ты.

— Он смеётся как он. Это я смеюсь как он. Ну, как тот я. Мама говорит, у нас одинаково. — Марк убрал телефон. — Слушай, я спросить хотел. Только не ржи.

— Не буду.

— Ты же звук. Ты умеешь записывать нормально. Не как на телефон, а по-настоящему.

— Ну.

— Я хочу записать... — он почесал затылок, — ну, звуки. Мои. Не фотки, фотки у меня есть. А как оно тут звучит. Как мама смеётся. Как Варя орёт «ещё». Как в школе звонок. Как вот тут, — он обвёл рукой зал, — если хлопнуть. Ты в прошлый раз хлопала, и оно возвращалось.

Я молчала. Я не ржала.

— Понимаешь, — сказал Марк, — фотки — это одно. Он посмотрит на фотки и узнает, что было. А я хочу, чтоб он слышал. Чтоб не только знал, а... не знаю. Чтоб у него было. — Он вдруг смутился. — Он же ничего этого не застал. Он умер, когда Варин папа был пацаном. Он не знает, как теперь всё звучит. А вернётся — и у него будет. От меня. Как посылка.

Посылка. Я подумала про свой альбом, где так и не смогла написать «дорогая я». А Марк не просто писал своему «старика» — он собирался отправлять ему посылки. Звуковые.

— Давай, — сказала я. — Запишу. Нормально, с микрофоном. У папы есть рекордер.

— Правда?

— Правда.

— Без «я забыла»?

Я покраснела. Слышал, значит. Ну конечно: Дина видела в журнале «за Громова», дальше по цепочке.

— Без «я забыла». Запишу в календарь. Красным.

Марк серьёзно кивнул, вытер пальцы от сырка о штаны и протянул мне руку. Я пожала. Липкая.

— Договорились. Посылка для старика. Ты — звукорежиссёр.

— А ты кто?

— А я отправитель. — Он встал и отряхнулся. — Ну и содержимое немножко.

Он пошёл вверх по рядам, к будке, где бросил куртку, и на полпути обернулся.

— Ась. А ты своей что-нибудь отправляешь?

Я не сразу поняла.

— Ну, своей. Той. — Он кивнул куда-то в сторону города, где за много кварталов стоял наш дом, а в нём маленькая комната, а в ней установка. — Ты же тоже вернёшься. Тебе тоже кто-то будет посылку получать.

Я открыла рот и закрыла.

— Мама альбом ведёт.

— Это мама, — сказал Марк. — А ты?

Ответа он не ждал. Махнул рукой и скрылся в будке, и было слышно, как он там ругается с голубями. А я стояла у колонны с проводом в руках, и шестой динамик тихо хрипел, потому что я забыла выключить генератор.

Я выключила. Стало тихо.

Мне это ни разу не приходило в голову. Что я тоже могу что-то отправить. Что на том конце, через два года, кто-то будет получать. Мама собирала альбом на потом, и я там была — с осиным гнездом, с бантом, с Подтверждением. Но это мамина посылка. Мамин подарок той, которая вернётся.

Моей посылки не было.

Я взяла блокнот и записала красным, под «шестой — при смерти»: «Марк. Запись. Рекордер у папы. Не забыть».

Подумала. И ниже, мельче, сама не знаю зачем: «Мне?»

И зачеркнула. Не сильно. Так, чтобы было видно.

Глава 8. Закрыто

Октябрь. До возвращения памяти: 678 дней

Буква «Н» должна была где-то быть.

Я была в этом уверена, как бываешь уверена, что ключи в кармане куртки, хотя ты их там уже три раза искала. Буквы на вывеске железные, сантиметров по шестьдесят, они не испаряются. Если «Н» упала, её кто-то поднял. Если подняли, куда-то положили. А всё, что в клубе «Речник» куда-то клали за последние пятьдесят лет, лежало в подвале.

Тамара Сергеевна выдала нам подвал на один вечер — вторник, с четырёх до восьми, «под вашу ответственность и под запись в журнале». До первого ноября надо было найти там всё полезное: кабели, крепления, старое полотно для экрана, если уцелело. И, может быть, букву.

— В восемь сторож закрывает здание, — сказала Тамара Сергеевна, отдавая Дине ключ на отдельном брелоке. — В восемь. Не в восемь пятнадцать. Сторож новый, он вас не знает. Соколова, вы ответственная. Предупредите его, что вы внизу, и выйдите до восьми.

— Хорошо, — сказала Дина.

* * *

Подвал «Речника» — длинный, как кишка, коридор и восемь комнат по бокам. Двери железные, тяжёлые, со щеколдами снаружи. Лампочки горят через одну. В первой комнате стулья — сотни, сцепленные ножками, как муравьи. Во второй — костюмы хора ветеранов в целлофане, и мы с Марком минуту пилились на ряды пустых матросских воротников, пока Дина не сказала: «Работаем».

Работали. Илья нашёл два мотка кабеля в хорошей изоляции и чуть не расцеловал. Марк откопал коробку старых афиш «Волны», выцветших, на толстой бумаге, и читал вслух с выражением: «„Весна на Заречной улице“. Сеансы в 21:00. Дети до шестнадцати не допускаются». Дина нашла полотно — рулон белой ткани в чехле, метров на двадцать, с жёлтыми пятнами по краям, но целый, — вписала его в блокнот, и лицо у неё стало как у человека, у которого сошёлся баланс.

Я искала букву.

В третьей комнате, где лежали старые декорации: фанерные деревья, картонная луна, нос корабля. В четвёртой, со сломанными прожекторами, — Илья, проходя мимо, посмотрел на них как на кладбище родственников. В пятой, где не было ничего, кроме пустых бутылок и сырости.

В семь сорок Дина сказала:

— Всё. Собираемся. Я к сторожу.

— Подожди. Шестая. Последняя. Пять минут.

— Ась, без двадцати.

— Пять минут! Там шкафы, она может быть в шкафу.

— Буква? В шкафу?

— Она плоская. Её могли за шкаф поставить.

Дина посмотрела на часы, потом на меня. Я знала, что сейчас она скажет «нет», и выпалила первой:

— Иди к сторожу, скажи, что мы внизу ещё десять минут. А мы глянем. Тут же близко. Она постояла. Вдохнула. Бросила Марку и Илье: «Кабели к выходу». И ушла.

* * *

В шестой комнате буквы не было.

Были шкафы, как я и думала, — старые, канцелярские, с картотеками. Мы с Ильёй отодвинули два. За первым была паутина. За вторым — кот. Мёртвый, давно, высохший, как осинное гнездо. Илья сказал «ой» и сел на пол.

В коридор мы вышли в семь пятьдесят пять. Марк уже стоял у лестницы с кабелями. Дины не было.

— Она к сторожу пошла, — сказал Марк. — Давно.

Мы поднялись к двери, которая вела из подвала в коридор первого этажа. Дверь не открылась. Я толкнула плечом, как дверь в «Волну». Ничего.

— Заперто, — сказал Илья.

— Снаружи, — сказал Марк. — На щеколду.

— В смысле — на щеколду?

— В прямом. Сторож новый. Нас не знает. Закрыв подвал, как положено.

— А Дина?

Мы переглянулись.

Сигнала не было — ни одной палочки. Подвал. У Ильи тоже, у Марка тоже. Я встала на верхнюю ступеньку и прижала телефон к щели под дверью. Ноль.

Илья постучал кулаком. Сильнее. Подождал. Тишина. Марк гаркнул «Эй!» — гулко, по подвальному, и эхо укатилось вниз по коридору, к мёртвому коту, и вернулось.

Семь пятьдесят восемь.

* * *

Я не боюсь темноты и закрытых помещений. В детстве я полдня просидела в шкафу, играя в прятки, и мне там понравилось. Но тогда у меня в животе сделалось холодно, и холод полез вверх, к горлу.

Из-за мамы.

Мама лет с моих пяти повторяет одно: ты должна быть на связи. Всегда. Опаздываешь — пиши. Садится телефон — попроси у кого-нибудь позвонить. Что-то случилось — звони сразу. У всех мам такое правило, Дина говорит, у её тоже. Но у моей в голосе, когда она это говорила, было что-то ещё. Что-то, чего у Дининой мамы, по-моему, не было.

В девять мама возвращалась со смены и, как всегда, звонила узнать, ужинала ли я. Я не отвечу. Она позвонит ещё. Я не отвечу. Я знала, что будет дальше, так же точно, как знала, где хрипела колонка «Причала».

— Может, Дина на улице и нам звонит, — сказал Марк.

— Значит, она не предупредила сторожа, — сказала я.

Резко сказала. Сама услышала.

— Ась... — начал Марк.

— Её задача была — предупредить. Тамара Сергеевна сказала: Соколова, вы ответственная. Пошла и не предупредила. Или предупредила, а он не понял. А она не проверила.

— Она ушла в семь сорок, — сказал Илья. — Мы вышли в семь пятьдесят пять. Ей что, пятнадцать минут над сторожем стоять?

— Ну и стояла бы!

Илья посмотрел на меня и ничего не сказал. Лучше бы сказал.

Я отвернулась и пошла по коридору. Ходила от двери к двери и дёргала ручки, будто где-то найдётся другой выход. Я знала, что его нет. Просто надо было куда-то деть руки.

* * *

Выход нашёл Илья. Ну, не выход — сигнал.

В восьмой комнате, в самом конце, под потолком было окошко, узкое, грязное, снаружи вровень с землёй. Оно смотрело на склон к реке, за клубом: трава и кусок уже тёмного неба. Илья встал на ящик, поднял телефон к стеклу.

— Одна палка.

Он набрал Дину. Она ответила на первом гудке.

— Вы где?! — Её было слышно через всю комнату.

— В подвале. Нас закрыли. Ты где?

— На улице! Я с семи сорока пяти на улице! Будка пустая, сторожа нет, я его по всему зданию искала, вышла во двор посмотреть, а он всё закрыл и ушёл через служебный! Я вам сто раз звонила!

— Тут нет сигнала.

— Я знаю, что там нет сигнала! — Дина почти кричала. — Мне домой надо! Мама в восемь тридцать уходит в ночную, мальчишки одни! Я обещала в восемь пятнадцать!

Илья помолчал.

— Звони Тамаре Сергеевне. У тебя есть номер. И иди домой. Мы посидим. Всё нормально.

— Я не могу уйти, вы же там...

— Дин. Иди к мальчишкам. Мы большие, посидим.

— Ладно, — сказала Дина совсем тихо. — Звоню. Я... ладно.

Илья протянул телефон мне. Восемь тридцать две. Мама взяла на половине первого гудка.

— Ася.

Не «Асенька», не «Ась», не «ты где». Просто «Ася», плоское, как лезвие.

— Мам, всё нормально. Мы в клубе, в подвале, нас случайно заперли, сторож новый. Сейчас Тамара Сергеевна приедет. Я в порядке. Тут сигнала нет, я из окошка.

На том конце долго молчали.

— Ты в порядке, — сказала мама.

— В порядке.

— Ты... — Она вдохнула. — Хорошо. Хорошо. Я еду.

— Мам, не надо, Тамара Сергеевна...

— Я еду.

И отключилась.

* * *

Тамара Сергеевна приехала в девять двадцать — в пальто поверх домашнего халата, с ключами сторожа, которые забрала у него прямо из дома. Сторож признался: подвал он запер в семь сорок пять, хотя мы имели право сидеть до восьми, а в семь пятьдесят ушёл из здания. Тамара Сергеевна отперла дверь и посмотрела на нас троих — грязных, с кабелями и рулоном полотна — так, что Марк выронил коробку с афишами.

— Время?

— Девять двадцать, — сказал Илья.

— До которого часа вы имели право здесь находиться?

— До восьми.

— Во сколько вышли из последней комнаты?

Я открыла рот, но Илья опередил:

— В семь пятьдесят пять.

— Почему не в семь сорок, когда Соколова пошла к сторожу?

Я знала, что сейчас надо сказать. Это всегда трудно. Каждый раз думаешь: в следующий раз будет легче. Не становится.

— Это я. Я попросила ещё пять минут. Мы искали букву.

— Какую букву?

— «Н». От вывески.

— Нашли?

— Нет.

Тамара Сергеевна помолчала.

— Дверь до восьми запер сторож. Это его нарушение, с ним я разберусь. — Она перевела взгляд на меня. — А вы попросили пять минут и взяли пятнадцать. Соколова осталась одна искать сторожа и опоздала домой. Это — ваше.

Она отступила, пропуская нас к лестнице.

— Проверку первого ноября проведу. Посмотрю, что вы сделали в зале. Но ключа у вас больше нет. С сегодняшнего дня в «Волну» — только когда здесь я или ваша Ольга Андреевна. И письмо в управление напишу не в ноябре, а когда увижу, что вы умеете держать договорённость и проверять, все ли вышли. Не раньше.

— А когда? — спросил Марк.

— Когда увижу.

* * *

Мама ждала на крыльце. Приехала на такси, в рабочей куртке, волосы мокрые, хотя дождя не было, — потом я догадалась, что она умывалась на работе и не вытерлась. Увидела меня, шагнула навстречу, взяла за плечи и посмотрела в лицо, как Сомов смотрит в экран: ряд за рядом, все параметры.

Потом обняла. Сильно, до хруста.

— Мам, — сказала я ей в куртку. — Всё нормально. Это просто подвал.

— Знаю. Знаю.

В такси она всю дорогу держала меня за руку и молчала. Только у подъезда, когда мы вышли, сказала:

— Я уже набрала номер Службы.

— Какой номер?

— Есть номер. — Мама смотрела на подъезд, не на меня. — Для таких случаев. Если восстанавливающийся больше двух часов не выходит на связь. Они ищут. У них есть... возможности. — Пауза. — Я набрала. И не нажала. Ты позвонила за минуту.

Я не знала, что такой номер есть. Шестнадцать лет была восстанавливающейся — и не знала, что если я пропаду на два часа, искать меня будет Служба. Не полиция, не мама с папой с фонариками по дворам, как ищут других детей. Служба. С возможностями.

— Мам. А если бы нажала?

— Не нажала же. — Мама открыла дверь подъезда. — Пойдём. Ты голодная.

* * *

Ночью я написала Дине.

Долго подбирала слова. Писала длинно — про сторожа, про то, что он запер раньше, про то, что мы не знали. Стёрла. Писала, что не хотела. Стёрла. Всё это была правда, но правда, нужная мне, а не ей.

Написала: «Прости. Это я. Я попросила пять минут. Я на тебя наорала при всех. Ты была ни при чём».

Отправила в ноль сорок.

Дина ответила в ноль сорок одну. Тоже не спала.

«Я знаю, что ты».

И через минуту:

«Петя плакал. Они полтора часа сидели одни. Мама ушла с работы, ей теперь штраф».

Я смотрела на экран, пока он не погас. Потом лежала в темноте и слушала, как за стеной щёлкает клапан и вздыхает насос. Одиннадцать минут. Ещё одиннадцать. Где-то в подвале клуба лежала «Н», которую мы так и не нашли. А может, её там никогда и не было. Может, её давно сдали на металл, а я держала троих людей в подвале из-за буквы, которой нет.

Петя плакал.

Мне было бы легче, если бы плакала я.

Глава 9. Тихая работа

Ноябрь. До возвращения памяти: 656 дней

Первого ноября Тамара Сергеевна прошла по залу молча, сверху вниз и снизу вверх, с блокнотом и ручкой. Мы шли за ней гуськом, как утята. Она посмотрела на мешки с листьями у контейнера, на штабель сломанных досок, на рулон полотна, на акт электрика, который Ольга Андреевна принесла в папке с файлами. На колонны, прикрученные к новым стойкам (стойки сварил Ильин дядя, за пирог). Постучала по одной костяшкочке.

— Убрано, — сказала она наконец. — Это признаю. Остальное — посмотрим.

И ушла в клуб, а мы остались посреди зала и не знали, радоваться или нет.

— Это значит «радоваться, но тихо», — перевела Ольга Андреевна.

— Тихо я не умею, — сказал Марк и пошёл по верхнему ряду, выкрикивая «убрано!» на разные голоса: басом, фальцетом, голосом диктора из новостей. Пока из окна второго этажа не высунулась Тамара Сергеевна и не сказала ему одно слово.

Какое — я не расслышала. Марк расслышал и сел.

* * *

Весь ноябрь мы работали тихо.

Приходили только когда Тамара Сергеевна была в клубе. Каждый раз — в журнал, время прихода и время ухода. Я ставила на телефоне будильник на семь сорок пять и, когда он звонил, клала паяльник, даже если оставалось перепаять один-единственный провод и рука сама тянулась доделать. Рука тянулась, я её била по пальцам. Мысленно.

Переделывали то, что наделали в октябре. Колонны, оказалось, стояли на стойках криво — Илья заметил, перекрутил. Из шестнадцати динамиков три были мёртвые и один хрипел; я заменила их на те, что нашлись у папы в коробке «разное». Дина переписала план, и в нём появились пункты, которых раньше не было: «огнетушитель — 2 шт.», «аптечка», «кто звонит, если что». Последний пункт она подчеркнула два раза и ни на кого не смотрела.

Марк, которому скучно было паять и считать, перечитал все старые афиши и составил список фильмов, которые показывали в «Волне» за тридцать лет. Вышло четыреста двенадцать. Он повесил список в будке на стену, и в первую же ночь голуби высказали о нём своё мнение.

— Критики, — сказал Марк, отскребая список. — Везде критики.

В середине месяца, в пятницу, я задержалась и вышла в семь пятьдесят восемь. Тамара Сергеевна стояла на крыльце и курила — я и не знала, что она курит. Когда я проходила мимо, она посмотрела на часы.

— Две минуты в запасе, Левина. Распускаетесь.

Я кивнула и пошла. Только на остановке до меня дошло, что это была шутка. Первая шутка Тамары Сергеевны в наш адрес. Я рассказала Дине, Дина не поверила и потребовала дословно.

* * *

А в субботу я сидела с Петей и Гошей.

Дина не просила. Я сама написала ей во вторник: «В субботу могу посидеть с мальчишками. Если твоя мама хочет взять смену». Штраф её маме выписали за то, что она ушла с работы без замены, — небольшой, но для них не маленький. Дина долго не отвечала. Потом: «Ты не обязана». Я: «Знаю». Она прислала адрес, хотя я его и так знала, и пункт номер один: «Гоша врёт, что ему можно сладкое после восьми. Ему нельзя».

Двойняшкам было по восемь. Они построили из диванных подушек крепость и держали меня в ней в плену до прихода Дины. Петя всё время спрашивал, правда ли, что я черновик. Гоша шипел на него: «Дурак, это обидно» — и через пять минут спрашивал сам.

— Правда, — сказала я.

Петя подумал.

— А ты нас потом будешь помнить?

— Нет.

Он подумал ещё.

— Ну тогда я тебе нарисую.

И нарисовал: я в крепости из подушек, с короной. Корона — потому что «пленным тоже можно». Гоша дорисовал мне усы, Петя полез драться, и до прихода Дины я разнимала их как могла, то есть плохо.

Рисунок я принесла домой и, подумав, отдала маме для альбома. Мама подписала: «Асе 16. В плену у Соколовых. Довольная».

* * *

Двадцать первого ноября у нас День сохранения.

Он есть не у всех. Только у тех семей, где кого-то сохранили, и у каждой свой. Не государственный праздник, в школе его не отмечают, в календарях его нет. Как день свадьбы: знают только свои. Семнадцать лет назад, в ночь с двадцатого на двадцать первое, маршрутка, в которой ехала Настя, столкнулась на мосту через Ольшанку с грузовиком. Тело спасти не смогли. То, что мама считает самым важным, — успели. И с тех пор мама говорит, что двадцать первого ноября меня спасли.

В этот день она всегда берёт выходной и печёт медовик — восемь коржей, весь день, — так что к вечеру вся квартира пахнет мёдом и жжёным сахаром. Ставит на торт одну свечку. Мы ужинаем троём, без гостей, мама зажигает свечку, мы молчим минуту, а потом мама говорит: «Ну вот. Ещё год». И мы едим медовик.

В детстве я любила этот день больше дней рождения. Дней рождения у меня два: седьмого сентября мне исполняется столько, сколько на самом деле, а двенадцатого мая по документам — на восемнадцать больше. На оба дарят подарки. В День сохранения подарков не дарят, зато было что-то другое: тихое, тёплое, будто мы троём сидим в лодке посреди большой воды и никуда не надо грести.

Папа в этот день с утра уходит «по делам». Всегда. Возвращается к обеду, и ботинки у него мокрые, даже если на улице сухо. Куда он ходит, я догадалась лет в двенадцать, но ни разу не спросила. Мост через Ольшанку — за городом, на трассе. Там нет памятника, нет даже таблички. Официально там никто не умер.

В этот раз он пришёл в два, поставил ботинки сушиться на батарею, поцеловал маму, поцеловал меня в макушку и сел чистить картошку. Руки у него были красные от холода.

* * *

Ужинали в семь. Мама зажгла свечку, мы помолчали. Из форточки у нас вечно дует, и пламя дрожало. Мама смотрела на свечку, я — на маму, папа — в тарелку.

— Ну вот, — сказала мама. — Ещё год.

И добавила, тише:

— Последний такой.

Папа поднял глаза. Я сначала не поняла, потом посчитала. Через год, двадцать первого ноября, мне будет семнадцать. Через два — восемнадцать, и сентябрь будет уже позади. И тогда сохранять будет нечего. Всё вернут.

— Предпоследний, — сказала я. — Ещё же следующий.

— Предпоследний, — согласилась мама, засмеялась и вытерла глаза запястьем. — Считать разучилась, инженер называется. Режь, Паш.

* * *

После ужина я мыла посуду под музыку.

Обычно я мою в одном наушнике, а второе ухо оставляю свободным, чтобы слышать, если позовут. Но в тот вечер наушник сел, и я поставила телефон на подоконник и включила так.

Это были «Маяки». Я нашла их прошлой весной, когда искала записи старых трамваев для одного ремонта. «Маяки» — двое где-то на севере, у моря. Они не поют. Они берут звуки — трамвай, дождь по жести, портовый гудок, скрип льда — и кладут под них виолончель и что-то электронное, тихое, как дыхание. Из моих друзей их никто не слушает. Марк сказал, что под это хорошо спать в автобусе. Дина сказала, что это звучит как её сосед, когда сверлит. Илья ничего не сказал, но я один раз видела у него в плейлисте их вещь, и он быстро погасил экран.

Из телефона шло «Течение», моя любимая. Там сначала долго капает, потом начинает гудеть, низко, будто под землёй, а сверху ложится виолончель.

Мама вошла за чаем и остановилась.

— Что это?

— «Маяки». — Я закрыла воду. — Мешает? Выключу.

— Стой. — Мама замерла с пустой кружкой, наклонив голову, как папа, когда слушает генератор. — Вот. Сейчас. Слышишь?

— Что?

— Гидроудар же.

Я прислушалась. Под виолончелью глухо стукнуло — тук, — и потом долго дрожало, будто где-то в трубах кто-то бежит.

— Напорная линия, — сказала мама, и у неё загорелись глаза. — Старая, чугунная. Задвижку резко закрыли, вода в трубе встала, и давление бьёт назад, волной. Вот оно. Мы его на объектах слушаем, когда ищем, кто где закрыл неправильно. Я его с закрытыми глазами узнаю. Где-то на насосной записали, точно тебе говорю.

— Seriously?

— Конечно. Слушай — опять. — Мама подняла палец. — Тук... и пошла. Метров восемьсот трубы. Может, километр.

Мы стояли и слушали гидроудар под виолончель: я с мокрыми руками, мама с пустой кружкой. Трек кончился.

— А ещё есть? — спросила мама.

Я включила ещё. И ещё. Мама села за стол и прослушала весь альбом, почти не шевелясь, только иногда говорила: «Насос», «Люк», «А это не вода, это ветер в вентиляции, но похоже». Папа заглянул из комнаты и спросил, что у нас за похороны трамвая.

— Паш, иди сюда, — сказала мама. — Тут нашу Ольшанскую насосную записали, клянусь.

— Это Заводская, — сказал папа, послушав.

— Ольшанская!

— У Ольшанской подшипник воет. Тут не воет.

Они спорили до конца трека, и папа так и остался сидеть.

На последнем мама встала и начала танцевать. Я её танцующей видела, кажется, один раз в жизни, на чьей-то свадьбе, и тогда она уверяла, что это не танец, а разминка. А тут — медленно, на месте, с закрытыми глазами, с пустой кружкой в руке. Под виолончель и капли.

Папа смотрел на неё так, будто она снова починила что-то, что он давно считал списанным.

* * *

Потом, когда папа ушёл спать, а я вытирала последние тарелки, мама сказала:

— Скинь мне. Всё.

— Правда?

— Правда. На объекте буду слушать. Пусть мои мужики узнают, что такое искусство. — Она засмеялась. — Ась, где ты это вообще находишь?

— Сама.

— Сама, — повторила мама. Посмотрела на меня, и голос у неё вдруг стал мягкий, совсем другой: — Ты мне в шесть лет одну вещь сказала. Помнишь?

Я знала, о чём она. И поставила тарелку в шкаф очень-очень аккуратно.

— Про реку?

— Про реку. Мы сидели на балконе, и ты вдруг: «Мама, я помню, как мы на реке были, и у меня был красный мяч, и он уплыл». А ты не могла этого помнить. Это было с ней... с тобой, в четыре года, на Ольшанке. Мяч правда уплыл, она ревела. Я тебе этого никогда не рассказывала. — Глаза у мамы были мокрые и счастливые. — Я тогда записала тебя на видео. Чтобы не забыть. Иногда пересматриваю.

— Когда?

— Когда страшно, — просто сказала мама. — Когда думаю: а вдруг не вернётся. Пересмотрю — и не страшно.

Она рассказывала. Я это точно знаю. Не мне — папе, на кухне, вечером, думая, что я сплю. А я сидела в коридоре на полу, потому что любила слушать, как они разговаривают. Мне было шесть. Я слышала про реку и про мяч, слышала, как мама засмеялась сквозь слёзы и как папа сказал: «Она так ревела, весь пляж сбежался». А через неделю мама грустила на балконе и смотрела на реку, и я хотела, чтобы она перестала. И сказала про мяч. И мама перестала. Она стала такая счастливая, что я испугалась.

Я ей так и не призналась. Сначала боялась. Потом стало поздно.

— Здорово, — сказала я.

— Здорово, — сказала мама, обняла меня одной рукой и поцеловала в волосы. — «Маяков» скинь. Не забудь.

— Не забуду.

* * *

Я скинула ей в тот же вечер все три альбома.

Ночью, когда я уже лежала, из родительской спальни сквозь стену шёл тихий звук. Мама слушала в наушниках, а у неё половина звука всегда уходит наружу: она не умеет их правильно надевать и не хочет учиться. Сквозь стену было слышно капли, низкий гул, виолончель. Гидроудар — тук, и пошла волна.

Я лежала и думала, что через два года, когда мне вернут память, «Маяки» мне, наверное, разонравятся. Та, которая вернётся, любит песню из рекламы йогурта и петь со сцены. Мастерские не любит. Она не станет мыть посуду под гидроудар.

А мама станет.

И мне стало спокойно. Я спрятала что-то своё в надёжное место, где никто не будет искать: у мамы в наушниках, за стеной.

Глава 10. Пробный вечер

Декабрь. До возвращения памяти: 625 дней

— Пробный вечер, — сказала Тамара Сергеевна в начале декабря. — В малом зале. Двадцать второго, суббота, перед каникулами. Один фильм, публика — свои. Покажете, что умеете не только листья убирать. Тогда напишу письмо.

Малый зал клуба — не «Волна». Обычная комната на втором этаже, на восемьдесят мест, с бархатными креслами, протёртыми на подлокотниках до основы, с маленькой сценой и белым экраном, который опускается с потолка на верёвке. Зимой там репетирует хор. Зато там есть розетки, крыша и батареи, а в декабре это важнее, чем река за экраном.

Фильм выбирал Марк. Полчаса стоял перед своим списком из четырёхсот двенадцати названий, водил пальцем, бормотал и наконец ткнул в «Весну на Заречной улице».

— Мы в Заречье ездили. Это судьба.

Судьба была ещё и в том, что фильм такой старый, что прав на него давно ни у кого нет, и Тамара Сергеевна могла крутить его из клубной фильмотеки хоть каждый день. Дина проверила это три раза.

Готовились две недели. Я притащила из «Волны» одну большую колонку, ту, что со склада, и слабый усилитель. Илья повесил над сценой два маленьких прожектора, найденных живыми в подвале, чтобы Марк объявлял не в темноте. Дина напечатала двадцать приглашений. Пришло тридцать восемь человек.

* * *

Пришёл хор ветеранов в полном составе, девять человек, — Тамара Сергеевна их предупредила, и они сели в первый ряд, в праздничном, с медалями. Пришли мама с папой. Мама — в платье, которого я не видела года три. Пришла тётя Ира, мама Марка, со Стасом и Варей. Стас оказался огромный, бородатый, с тем самым низким смехом с видео, а Варя сидела у него на плечах и стучала его по макушке, чтобы смотрел куда ей надо. Пришла Динина мама с двойняшками. Пришла Ольга Андреевна с термосом, а с ней почему-то Ефим Борисович. Пришёл даже Ильин дядя из «Праздника под ключ» — маленький, лысый, в пиджаке с блёстками, и все на него оглядывались, а он, кажется, только этого и ждал.

Я сидела за пультом в последнем ряду. Пульт был папин, переносной, с шестью ползунками. Рядом стоял ноутбук, к нему подключили проектор. Илья сидел рядом и держал самодельную коробочку с двумя тумблерами — свет над сценой.

— Всё проверила?

— Всё.

— Удлинитель...

— Илья. Всё.

Он поднял ладони и замолчал.

Удлинитель — это наш спор с прошлой недели. Илья хотел запитать и проектор, и усилитель от одной розетки в будке, через длинный удлинитель. Я хотела поставить усилитель у сцены и воткнуть в розетку там же, чтобы не тянуть кабель через весь зал под ногами у ветеранов. Я победила. Я всегда побеждаю, когда речь о кабелях под ногами.

В семь ноль пять Илья щёлкнул тумблером. Над сценой зажёгся свет. Вышел Марк.

* * *

Он был в пиджаке, наверное, Стаса — рукава до середины ладоней. Встал посередине сцены, подождал, пока все замолчат.

— Добрый вечер. Меня зовут Марк Громов, и я представляю инициативную группу летнего кинотеатра «Волна».

Хор в первом ряду захлопал. Марк поклонился.

— Летнего кинотеатра у нас пока нет. Есть зал, яблоня в седьмом ряду и сорок три доски, которые Дина Соколова знает по именам. — Смех. — Но мы надеемся, что к лету он будет. А пока, чтобы вы поверили, что мы вообще умеем что-то показывать, — вот. «Весна на Заречной улице». Фильм про то, как человек приходит туда, где его совсем не ждали. Ну, примерно как мы к Тамаре Сергеевне.

Тамара Сергеевна в третьем ряду прикрыла глаза ладонью. Зал хохотал. Марк стоял в свете и улыбался, и было видно, что ему там хорошо. Вот он любил сцену так, как любила она — та, другая. Будто они с ней сговорились, а меня не позвали.

— Приятного просмотра, — сказал Марк и ушёл.

Илья погасил свет. Я нажала «пуск».

Пошли титры. И вместе с титрами из колонки пошло гудение.

Низкое, ровное, мерзкое. Пятьдесят герц. Громче музыки, громче всего, будто внутри колонки сидел огромный шмель и злился на весь мир. Хор в первом ряду обернулся.

Я поняла сразу, с первой секунды. Земляная петля. Проектор включён в одну розетку, в будке, усилитель — в другую, у сцены, на другой линии. Между ними течёт ток, которому некуда деваться, и он поёт. Будь всё от одной розетки — ничего бы не было.

Удлинитель.

Я убрала громкость — шмель стал тише, но и фильм тоже. Подняла — шмель тоже. Выдернула и воткнула аудиокабель — без толку. Руки тряслись. На экране кто-то беззвучно разговаривал под жужжание, и в зале засмеялись — не над фильмом.

— Это петля, — сказал Илья мне в ухо.

— Знаю, что петля.

— Нужен удлинитель.

— Знаю, что нужен удлинитель!

Я остановила фильм. В зале вспыхнул свет — это Дина у двери включила общий. Тридцать восемь человек смотрели на последний ряд. На меня.

* * *

Дальше — кусками.

Илья уже бежал — не в будку, а в коридор, за удлинителем, потому что тот, который он принёс в прошлый раз, я велела унести обратно. Дина шла к нам по проходу и на ходу говорила ветеранам: «Минуточку, технический момент». Мама в пятом ряду смотрела на меня так, будто я упала с велосипеда, а она не знает, бежать ко мне или не позорить.

А Марк вышел на сцену.

Без света, без микрофона. Встал на краю и громко сказал:

— Пока наш звукорежиссёр сражается со стихией, расскажу вам, как она нашла в колонке осиное гнездо.

И начал. Что он рассказывал, я не слышала: я ползала под креслами, вытаскивая кабель от усилителя. Но я слышала, как зал смеётся. Сначала вежливо. Потом по-настоящему. Потом дедушка из хора, с двумя медалями, крикнул: «А осы-то живые были?» — и Марк крикнул: «Мёртвые, Пётр Иванович, но очень музыкальные!» — и все легли.

Илья вернулся с удлинителем на катушке, метров на двадцать. Мы протянули его от будки через проход, вдоль стены, к сцене. Дина шла следом и прижимала его к полу скотчем, кусок за куском, чтобы никто не споткнулся. Я воткнула усилитель. Включила.

Чисто. Ровно. Никакого шмеля.

Я подняла руку. Дина погасила свет. Марк сказал в темноту: «А теперь — кино» — и спрыгнул со сцены.

Я нажала «пуск». Пошли титры, пошла музыка — старая, оркестровая, немного шершавая, как всякий звук из прошлого века. И больше ничего.

Я сидела за пультом и не могла выдохнуть. Илья сел рядом, я чувствовала его плечо в темноте.

— Ты говорил, — сказала я тихо. — Один удлинитель.

— Говорил.

— Я не послушала.

— Не послушала.

— Можешь не повторять за мной всё?

— Могу, — сказал Илья. По голосу было слышно, что он улыбается.

* * *

Никто не ушёл. Мы потеряли на петле двенадцать минут, и я была уверена, что половина зала встанет и уйдёт, ветераны первыми — им же неудобно в этих креслах. Никто. В середине фильма хор тихонько запел вместе с героями, Тамара Сергеевна на них шикнула, а потом запела сама.

На середине я вспомнила про Марка. Достала папин рекордер, маленький, серебристый, поставила на подлокотник и включила. Марк просил звуки для посылки. Я записала, как зал смеётся, когда герой падает в лужу. Как Варя на плечах у Стаса громко спрашивает: «А почему они чёрно-белые?» Как поёт хор.

Как смеётся мама. Её смех я узнаю из любой толпы: высокий, с икоткой в конце.

* * *

Когда всё кончилось и зажёгся свет, Тамара Сергеевна подошла к последнему ряду. Я сматывала кабели. Руки ещё не до конца перестали дрожать.

— Что случилось?

Илья открыл рот. Я успела раньше:

— Земляная петля. Я подключила усилитель не в ту розетку. Ветров говорил, что надо от одной. Я не послушала.

Тамара Сергеевна посмотрела на меня, на Илью, на удлинитель, приклеенный Дининым скотчем через весь зал.

— Двенадцать минут, — сказала она.

— Двенадцать.

— А Громов — молодец. — Это было сказано ни в чью сторону. Потом снова мне: — Письмо в управление напишу в понедельник. Летний сезон, пробный, десять вечеров. Если дадут.

— Правда? — выдохнула Дина у неё за спиной.

— Если дадут, — повторила Тамара Сергеевна. — А удлинитель, Левина, купите свой. Этот хоровой. На нём хор на Новый год гирлянды вешает.

И ушла. На лестнице её догнал Пётр Иванович с медалями и что-то говорил про осиное гнездо.

* * *

Сматывали мы вдвоём с Ильёй. Дина с Марком провожали гостей. Мама с папой ушли вперёд, и мама на прощанье сжала мне руку и прошептала: «Всё было прекрасно, слышишь? Прекрасно». Я знала, что она врёт, и любила её за это.

Илья медленно наматывал удлинитель на катушку, отдирая Динин скотч.

— Ты не думала на это учиться? — спросил он вдруг.

— На что?

— На звук. По-настоящему. — Он смотрел на катушку, не на меня. — В Тальске есть колледж сценических технологий. Свет, звук, сцена, всё. Два часа на поезде. Я туда хочу. После школы. — Помолчал. — У них практика в настоящих театрах. Ты бы там... ну. Ты нормально слышишь. Ты тогда в «Волне» эхо за секунду слышала. Я бы год думал.

— После школы, — сказала я.

— Ну да. После восемнадцати.

Я сматывала свой кабель восьмёркой, петля за петлёй, как учил папа, чтобы не перекручивался.

После восемнадцати.

Я никогда об этом не думала. Не потому, что запрещали. Просто после восемнадцати будущего у меня не было — то есть было, но не моё, а той, которая вернётся. После восемнадцати — возвращение, а за ним белый лист, в который я не заглядывала: это было как читать чужой дневник. Её жизнь, её планы. Она хотела... я даже не знала, чего она хотела. Петь, наверное. Стоять на сцене. Не в будке.

А сейчас, со шнуром в руках, я вдруг увидела.

Не её. Себя. Мне восемнадцать, я в Тальске, в настоящем театре, за огромным пультом, у которого не шесть ползунков, а шестьдесят. На сцене кто-то поёт, а я делаю так, чтобы его было слышно в последнем ряду, без эха и без шмеля. Через проход, за световым пультом, — Илья, в нормальной футболке, без сердечек. И это не потом. Не для кого-то. Это я.

Я так ясно это увидела, что остановилась.

— Ась?

— Ничего.

Я досмотрела картинку до конца. А потом вспомнила. «Предварительно. Подлежит согласованию по завершении восстановительного развития». «Если интерес сохранится». Вспомнила — как просыпаешься после хорошего сна: ещё помнишь, как там было, но уже знаешь, что пора вставать.

— Подумаю, — сказала я.

— Подумай, — сказал Илья и защёлкнул катушку.

* * *

Домой я шла одна, пешком, через сквер. Шёл первый снег, мелкий и сухой. Он не падал, а висел в свете фонарей. Ефим Борисович объяснял: между снежинками воздух, и звук в нём вязнет. Город звучал, будто его завернули в вату.

Я достала рекордер и нажала воспроизведение, тихо, у самого уха. Смеётся зал. Варя спрашивает про чёрно-белое. Поёт хор. Мама смеётся, с икоткой в конце.

Это всё было для Марка. Для его посылки старику.

Я остановилась под фонарём, снег садился на рекордер, и я подумала: так это ведь и моё. Мой вечер. Мой шмель, мой позор, мои двенадцать минут, мой удлинитель через весь зал. Мамин смех, который я выловила из тридцати восьми.

Я сделала копию, прямо там, на телефон. Назвала файл: «22.12. Пробный».

Кому я её отправляю, я не знала. Наверное, никому. Наверное, себе — сейчас, а не потом.

Это было первое будущее, которое я придумала сама. Тальск, шестьдесят ползунков, Илья за световым пультом. Я несла его домой за пазухой, как что-то тёплое в мороз, и старалась не думать, что до восемнадцати оно не доживёт.

Пока — дожило до дома.

Часть вторая. Дальше одного лета

Глава 11. После школы

Январь. До возвращения памяти: 588 дней

Письмо из управления пришло в середине января. Тамара Сергеевна прочитала его нам вслух у себя в кабинете, среди кубков, не снимая пальто: «...согласовать проведение пробного летнего сезона в открытом зале при условии соблюдения требований пожарной безопасности... не более десяти показов... с июня по август текущего года...»

Дальше шло ещё полстраницы условий. Дина записывала каждое. Марк на словах «пробного летнего сезона» сел прямо на ковёр и объявил, что у него отказали ноги. Тамара Сергеевна сказала, что пусть отказывают в коридоре, у неё через пять минут совещание.

Илья ничего не сказал. Посмотрел на меня через кабинет и поднял большой палец — совсем чуть-чуть, у бедра, чтобы никто не видел.

Я видела.

* * *

Зима была длинная и обыкновенная.

«Волна» стояла под снегом, и мы туда не ходили — только раз, в начале февраля, проверить, не провалилась ли крыша будки. Не провалилась. Яблоня в седьмом ряду стояла голая и чёрная, с одним сморщенным яблоком на верхней ветке, до которого никто не мог дотянуться. Марк назвал его «последний зритель».

Работали в малом зале и в мастерской. Я перебирала колонны: шестнадцать динамиков, все прослушаны, все переписаны в Динин блокнот под номерами. Илья паял себе световой пульт из старых деталей и показывал мне каждую плату, как кот приносит мышь. Марк рисовал афиши на все десять вечеров, хотя фильмы ещё не выбрали, и каждую неделю перерисовывал, потому что придумывал смешнее.

А по вечерам была физика.

Сентябрьскую тройку я потом исправила на четвёрку, но в январе Ефим Борисович дал новую тему — законы Кирхгофа, — и я опять застряла. Руками я понимала, как ток делится в узле: вот провод, вот развилка, вот туда пошло больше, потому что там легче. А на бумаге ничего не складывалось. Буквы были не те, стрелки шли не туда.

В одиннадцатом часу я сидела над задачником на кухне, когда пришла мама.

— Кирхгоф? — Она глянула мне через плечо.

— Он меня ненавидит.

— Он всех ненавидит. Он умер двести с лишним лет назад, у него было время. — Мама налила себе чаю, села рядом и подтянула мой листок. — Давай. Где застряла?

— Везде.

— Значит, с начала. — Она взяла карандаш. — Забудь про ток. Ток — это вода.

И нарисовала трубы.

Не схему, а трубы, как у неё на работе: магистраль, развилка, отвод в один дом, в другой. Напряжение — давление. Насос даёт давление, как батарейка. Сопротивление — узкая труба, или ржавая, или забитая. Сила тока — сколько воды проходит за секунду.

— Вот развилка. Сколько воды в неё пришло, столько и ушло. Пропать ей некуда. Она просто идёт туда, где легче. — Мама постучала карандашом. — Первый закон. Сколько втекло в узел, столько и вытекло. Всё. Остальное — бухгалтерия.

Я смотрела на её трубы, и у меня в голове что-то щёлкнуло, как реле. Я забрала карандаш и решила первую задачу. Потом вторую. Мама пила чай, иногда говорила «тут давление упадёт», и я понимала, о чём она.

— Как ты так объясняешь? — спросила я на четвёртой.

— Двадцать лет объясняю новым мастерам, почему нельзя резко закрывать задвижку. — Мама улыбнулась. — Гидроудар. Помнишь «Маяков»?

— Ну.

— Я их своим на объекте включила. Петрович сказал, что так у него в ушах шумит после праздников. Я его лишила премии. — Она допила чай. — Шучу. Но хотела.

Спать она ушла в двенадцатом. Я решила все восемь задач. Утром Ефим Борисович посмотрел мою тетрадь и спросил:

— Левина, вас подменили?

Класс заржал.

— Мама, — сказала я.

— Передайте маме пять, — сказал Ефим Борисович. — А вам пока четыре.

* * *

В конце января меня позвала Ольга Андреевна. Одну, после уроков, в кабинет с глобусами.

— Садитесь, Левина. У меня для вас кое-что есть.

Она положила на стол брошюру, глянецовую, тонкую. На обложке — тёмный зал, сцена в синем свете, а за большим пультом в полумраке девушка в наушниках. Сверху: «Тальский колледж сценических технологий. Звукорежиссура и звуковое оборудование сцены».

Я взяла брошюру. Кажется, руки взяли её раньше, чем я решила.

— Ветров ко мне заходил, — сказала Ольга Андреевна. — Спрашивал про световое отделение. Я посмотрела программу целиком. У них есть звуковое. Занятия — с первого октября. — Она раскрыла брошюру на развороте. — Для вас это будет осень после восемнадцати. Через полтора с лишним года.

На развороте были фотографии: студенты таскают колонки, студенты сидят в студии за стеклом, студенты стоят на сцене большого театра и задирают головы к колосникам. Внизу мелко — условия. «Предварительная заявка с портфолио — до 15 декабря года, предшествующего поступлению. Практический вступительный этап — июль. Портфолио: не менее трёх реализованных проектов с технической документацией и записями».

— Три проекта, — сказала я.

— «Волна» — один. Если сезон пройдёт, хороший один. Пробный вечер можно считать. Ещё что-нибудь найдёте, руки у вас на месте. — Ольга Андреевна сняла очки и протёрла их краем жилета. — Я не к тому, чтобы вы прямо сейчас решали. Я к тому, чтобы вы знали, что такое есть. И что для этого надо собирать материал. Записи, схемы, фотографии, отчёты. С этого лета.

— Хорошо.

— И ещё. — Она надела очки. — Для вас есть особенность, я узнавала. Заявки восстанавливающих принимают, конечно. Но с отметкой. Интерес подтверждается после процедуры. Это формальность. Если вам после возвращения будет интересно — место за вами.

— А если не будет?

Я спросила просто так. Как спрашивают, сколько стоит проезд.

— Тогда место отдадут другому, — спокойно сказала Ольга Андреевна. — Ничего страшного, так бывает. Люди передумывают и без всякого возвращения. — Она улыбнулась. — Но у вас руки, Левина. Руки не передумывают.

Я кивнула. Всё было разумно. Как Подтверждение, как отметка в карте, как всё остальное: сейчас — предварительно, потом — окончательно. Я так жила всю жизнь и даже не заметила, что кивнула.

— Брошюру возьмите себе.

* * *

Я несла её в рюкзаке между физикой и литературой, и весила она почему-то больше, чем весила.

Мама была дома. Жарила котлеты и говорила по телефону с кем-то с работы про задвижку на Садовой. Увидела меня, помахала лопаткой: «Сейчас». Я разулась, прошла на кухню, села. Достала физику — делать уроки. И брошюру — посмотреть ещё раз.

Мама положила телефон.

— Что это у тебя?

Она смотрела на брошюру. На тёмный зал, синий свет, девушку в наушниках.

— Учебное задание, — сказала я.

Само вылетело. Я даже подумать не успела.

— Какое?

— Профориентация. Ольга Андреевна раздала. Надо почитать про разные колледжи и написать эссе. — Я закрыла брошюру и положила сверху физику. — Скукота.

— А, — сказала мама и вернулась к котлетам. — Ну напиши, что хочешь в водоканал. Я тебе справку сделаю.

Она засмеялась, я тоже. Котлеты шипели. Мама рассказывала, как Петрович на Садовой перепутал задвижки и залил подвал парикмахерской и как хозяйка гоняла его по двору с феном. Я смеялась и кивала, брошюра лежала под физикой, и я чувствовала её локтем.

Зачем я соврала, я не знала.

Ведь ничего же. Брошюра. Колледж. «Если интерес сохранится». Мама бы не рассердилась. Мама бы обрадовалась, она радуется всему, что у меня получается. Сказала бы: «Звуко-режиссура! Ну конечно, ты же у нас уши!» — и повесила бы брошюру на холодильник под ласточку, рядом с подготовительной картой и Диниными графиками. А в альбоме подписала бы: «Асе 16. Думает про Тальск. Мечтательная».

Вот этого я и не хотела. Я поняла это, глядя, как мама переворачивает котлеты. Не хотела, чтобы брошюра висела рядом с картой. Не хотела, чтобы она попала в альбом. Альбом — на потом. Для той, которая вернётся, полистает и улыбнётся: «Надо же, я хотела в Тальск».

А я не хотела, чтобы она улыбалась. Я хотела в Тальск сама.

Мысль была такая странная, что я её сразу отставила, как кастрюлю с огня, когда начинает пригорать.

* * *

Ночью я лежала с брошюрой под одеялом и светила на неё телефоном, как в детстве на книжку.

Девушка на обложке была ни на кого не похожа. Темноволосая, коротко стриженная, в больших наушниках. Она смотрела не на сцену, а на пульт, и лицо у неё было такое, какое бывает, когда звук наконец становится правильным. Я знала это лицо. Видела его в зеркале в мастерской в тот день, когда колонка «Причала» перестала хрипеть.

Я открыла последнюю страницу. Календарь приёма. «Предварительная заявка — до 15 декабря. Практический этап — июль. Начало занятий — 1 октября».

Первое октября.

Я тихо встала и босиком пошла на кухню. Включила маленькую лампу над плитой. На холодильнике под ласточкой висела подготовительная карта. Внизу, в синем кружке, мамина дата: 07.09.

Я посчитала. В сентябре тридцать дней. С седьмого по тридцатое — двадцать три, плюс первое октября.

Между моим возвращением и первым днём занятий было двадцать четыре дня.

Я постояла перед холодильником. За стеной щёлкнул клапан, вздохнул насос. Где-то в квартире капал кран, раз в четыре секунды: мама обещала его починить ещё с весны, «руки не доходят, на работе таких сорок».

Двадцать четыре дня. Как раз хватит, чтобы та, которая вернётся, решила, интересно ли ей.

Я выключила свет и пошла спать. Брошюру положила не в стол, а в коробку из-под паяльника, на самое дно, под запасные жала. Туда мама никогда не заглядывала. Туда вообще никто не заглядывал, кроме меня.

Глава 12. Расходы

Февраль. До возвращения памяти: 566 дней

Бюджет Дина представляла у себя дома, шёпотом: за стенкой после ночной спала её мама.

Квартира у Соколовых — двушка на пятом этаже без лифта. В одной комнате мама, в другой Дина и двойняшки: двухъярусная кровать и раскладушка. Мы сидели на кухне вчетвером, на трёх табуретках и перевернутом ведре. Ведро досталось Марку, он заявил, что так сидят настоящие продюсеры. На холодильнике у Соколовых тоже висели листы под магнитами: расписание маминых смен, расписание кружков мальчишек, расписание Дины. Ласточки не было. Была клубника.

Дина положила на стол три листа, скреплённых степлером. Сверху: «Волна. Пробный сезон. Расходы».

— Десять вечеров, — сказала она тихо. — Вход бесплатный, это условие управления. Коробку для пожертвований ставить можно, рассчитывать на неё нельзя. — Перевернула лист. — Права на показ. Старые фильмы из клубной фильмотеки бесплатно, их у нас семь. На три вечера нужны новые, а это деньги. Электричество — клуб платит половину. Огнетушители, аптечка, страховка — обязательно. Звук. Свет. Афиши. Скотч. — Она посмотрела на меня. — Скотча много.

— Сколько всего? — спросил Илья.

— Сорок шесть тысяч. Клуб даёт пятнадцать. Не хватает тридцати одной.

Марк присвистнул. Дина на него шикнула, и он присвистнул шёпотом.

* * *

— Каждый говорит, что может, — сказала Дина. — Деньгами и временем. Честно. Я записываю.

На «честно» она посмотрела на меня. Я сделала вид, что не заметила.

Начала Дина с себя. Две тысячи своих, отложенных с лета, когда она раздавала листовки. Вся бухгалтерия, договоры, переписка с управлением. Двенадцать часов в неделю, из них четыре дома ночью, пока мальчишки спят.

Илья — пять тысяч с дядиных заказов: весной у дяди свадьбы каждую субботу. Свет — весь, сам, из того, что есть. Десять часов в неделю.

Марк — денег ноль.

— Мама в библиотеке, Стас платит ипотеку, у меня сорок рублей и проездной. — Он развёл руками. — Зато я обойду все кафе на набережной и попрошу спонсорство. Я умею просить. Я в детстве у Стаса велосипед выпросил, а он отдавать не хотел. Восемь часов в неделю. На улице, с людьми — это моё.

Потом все посмотрели на меня.

— Десять тысяч, — сказала я.

Дина подняла голову.

— Десять?

— Я у папы работаю. Возьму больше заказов. Весной всегда много: кондиционеры, телевизоры.

— Ась, ты у папы получаешь три в месяц. Если повезёт — четыре.

— Значит, возьму больше.

— А время?

— Звук — весь. Сама. И проектор посмотрю. Он в будке стоит, его никто не проверял. Починим — не надо будет брать в аренду.

— Ты понимаешь в проекторах?

— Разберусь.

Дина долго на меня смотрела. Потом записала: «Левина — 10 000». И рядом карандашом поставила вопросительный знак, такой маленький, что я его еле разглядела. Ниже: «Звук — весь. Проектор — ?»

— Сколько часов?

— Сколько надо.

— Ася.

— Пятнадцать, — сказала я. — В неделю.

Она записала и ничего не сказала. Хуже не придумаешь.

* * *

— Есть ещё вариант, — сказал Илья.

Он вытащил из кармана сложенный листок и разгладил на столе. Схема «Волны», нарисованная от руки, с колонками и прожекторами.

— В смете четыре новых динамика для большой колонки, ремонт второго усилителя и сценический монитор. Но большая колонка нужна только Марку — объявлять и музыку до сеанса. Ей хватит двух рабочих динамиков из шести. Остальные пока можно не менять. И монитор не нужен. Мониторы для того, чтоб на сцене себя слышать, а Марк себя и так слышит.

— Это правда, — сказал Марк. — Я себя всегда слышу. Даже когда не хочу.

— Большая колонка будет звучать плохо, — сказала я.

— Для объявлений — нормально. Не для фильма.

— Она будет звучать как в метро. «Осторожно, двери закрываются».

— Ась, — сказал Илья. — Десять вечеров. Пробных. Которые могут и не продлить. Полный звук за девять тысяч — или нормальный звук и девять тысяч на огнетушители, которых у нас нет.

Спорили мы не о нас, я это понимала. О звуке. И он был прав, и я опять поняла это раньше, чем согласилась. Мне хотелось, чтобы «Волна» звучала как надо. Не нормально — как надо. Чтобы в первый вечер человек сел на скамейку, пошёл первый звук, и у него по спине побежали мурашки. Мне этого так хотелось, что сводило челюсть.

Но огнетушителей у нас правда не было.

— Два динамика, — сказала я. — Но хороших.

— Два хороших, — согласился Илья.

Дина вычеркнула девять тысяч и пересчитала. За стенкой заворочалась её мама, и мы замерли, как мыши. Потом Дина зашептала, водя ручкой по строчкам:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.